



ТОМ ВТОРОЙ

ДЖИХАНГИР

Пролог

Он был доволен. Все было в его руках, и это сладостное ощущение, — он готов был поклясться Небом, — давно уже не приходилось испытывать ни одному из владык подлунного мира. Иногда ему хотелось обернуться соколом и взмыть над брэнной землей: пролететь над ее бурозеленым покрывалом и желтым немигающим оком окинуть свои владения, простиравшиеся на тысячи ли. Восток покорился ему, как слабая, изнеженная дева, не ведавшая в жизни ничего кроме неги раззолоченных дворцов, отдается дикому разбойнику, покрытому запекшейся кровью и прокопченному дымом пожарищ.

Ха! Он и был разбойником, хотя это было уже так давно, так давно... Но он ни о чем не жалел — ни о годах своей кровавой юности, ни о трупах былых соратников и друзей, через которые он перешагнул не поморщившись на своем долгом пути к престолу Священного Правителя. Он старался не думать о том, что жена его целый год отдавала свое нежное тело похотливым меркитам, и о том, что до сих пор не уверен в своем первенце, рожденном в их плену. Да, только одну ночь ему удалось насладиться ласками луноликой Бортэ, а уже на рассвете налетела меркитская шайка и он бежал, — трусливо, по-

стыдно, бросив и скот, и людей, и прекрасную жену. А потом, когда он рыскал как оголодавший шакал по склонам горы Бурхан-Халдун, подарившей ему спасение, у этой потаскухи было немало других ночей. И кто же, кто одарил ее своим семенем, от которого затяжелела она, — он или десятки других счастливцев, которым довелось резвиться со своей добычей? Ну полно, он не будет думать об этом сейчас, когда воссел на вершине власти. В конце концов, он отомстил им всем, отомстил сполна. Меркитов больше нет, и кто теперь вспомнит о его позоре? Нет и поганца Чжамухи, который мог бы поведать миру о его постыдном бегстве и его рогах. Чжамуха мертв, так же как и меркиты, осмелившиеся нанести ему оскорбление. И все же почему, почему в голову ему лезут эти подлые мыслишки? От прекрасного расположения духа не осталось и следа. На бронзовое, усеянное шрамами чело набежали волны глубоких морщин.

Желтые, как у рыси, глаза Чингиза вспыхнули злобным пламенем. Ну конечно! Вот она, причина того, что мысли о том далеком позоре вновь посетили его — Турумтай! Подлый ублюдок старого Токта-бека, которому он лично вырвал сердце. Вот кто может поведать миру эту грязную историю! Проклятый царевич бежал на запад и бесследно затерялся в кипчакских степях. Может, он и сложил свою голову там, среди чужих воинственных племен, среди зыбучих песков и мертвых солончаков, а может... а может, и нет. Голова его должна лежать у девятиножного знамени — и только тогда Джихангир вновь обретет спокойствие.

И было еще одно “но”... Девушка по имени Канькей, дочь покойного кагана кыргызов, прямая наследница священной богини Гоа-Марал. Ее уже везли к нему, вырвав из лап кипчаков и башкир, и день священного Звания к духам Прародителей, казалось, был так близок! Но кто же он, дерзновенный, осмелившийся встать на пути у самого Провидения? Да, это он, надменный Мухаммед, возмнивший себя вторым Искандером Двурогим, кто же еще? А значит... значит, настала пора обломать ему рожки...

Сверкали и переливались на жгучем солнце Востока чудные минбары и купола Древнего Хорезма. Издалека, из изнуренного зноем безводья степей, начинали они уже манить к себе путников — символы богатства, власти, могущества, идущих испокон веков. При взгляде на них лютая зависть сжимала обожженные сердца вечно голодных бродяг — степных разбойников, что скитаются на приграничье Хорезма и Дешт-и-Кипчака, — да как же так? Им приходится скитаться по пустыне, хлебая строго отмеренную мутную драгоценную влагу из бурдюка, в поисках призрачной добычи, а там, за тысячью стрелищ, совсем другая жизнь... Искрятся, переливая на солнце свои хрустальные брызги, фонтаны... воркуют осоловевшие под тяжестью расписных хвостов павлины в присыпанных жемчужным песочком внутренних дворах сытых беков за глухими, непролазными дувалами... цветут персиковые, айвовые и яблочные сады, растет янтарный виноград, и шелкопряд, вынесенный некогда с равнин Китая в посохе буддистского монаха, трудится, прогрызая тутовую листву, оставляя за собой чудесную, дорогую, почти как золото и серебро, волшебную нить... Там крутят бесконечное колесо страданий их братья-разбойники, те, которым не повезло — с выколотыми глазами, с колодками на костлявых шеях, с выжженными на лбах хозяйскими клеймами, — изнемогают дено и ночью, сады беков должны пить, и они будут напоены драгоценной влагой, в которой хозяевам, нежащимся под звуки индийских ситаров, не видна рабская кровь...

При этой мысли сжимались сильные руки, шарил по поясу в поиске нагайки и верного меча, тянулись к запячленным сайдакам за каленой стрелой... Но куда там...

Грозная стража охраняет покой беков и визирей и самого падишаха — хозяина всей этой роскоши и виновника всех этих рабских стонов. И кто они, кто?

В их устах никогда не звучала персидская речь, которой столь любят услаждать себя и потомки Караханидов, и местные таджики, власть и их прихвостни — все эти бесчисленные

судьи, писцы, торгоши, менялы... На их суровых, продубленных степью лицах ничем не вытравившись выдающихся в стороны скул, отливающих на солнце бронзой. Кто ж они? Свои же... тюрки. Кипчаки. Высятся немо, как истуканы на неприступных зубчатых стенах падишаховой твердыни, и у городских ворот, закованные в броню по самые глаза, — зоркие, орлиные степные глаза, глаза, не ведающие жалости к врагам империи...

И потому знают степные бродяги — нет им пути в Хорезм, кроме как на аркане за быстрым конем своего же соплеменника. Так было сто, двести и триста лет назад. Видно, и сейчас так будет...

Но неумолимое время уже плетет свою судьбоносную паутину. Тянутся, как и тысячи лет назад, пестрые караваны со всех концов света к золотым городам Хорезма. Везут с собой все по всему — ободранных плетью рабов-мужчин, в паланкинах волооких дев для гаремов, оружие, кожу, меха, гонят резвых ахалтекинских коней из предгорий Копетдага, тюки пряностей с чудесных южных островов, жемчуга и сапфиры из Хиндустана, оттуда же — трубно хрюкающих серых слонов в забавных серебристых налобниках, шелковые китайские халаты и фарфоровые статуэтки... А еще — книги, эти под полой, коли не с Булгарии, или Халифата, — язычество в Хорезме запрещено. Но везут лихие головы, везут. Тексты древних мудрецов и безумцев, Будды и Мани, сутру “Золотой блеск”, Евангелие несториан, иудейскую Тору. Все это найдет своих читателей, тех, что будут потом горячо и яростно спорить в тени чайханы, озираясь на соседей, — нет ли где падишахского соглядатая? Везут книги, а с ними — идеи, мысли, бунтарские, крамольные. А еще — разведчиков.

Давно уже, почти десяток лет, Хорезм лежит, как на ладони, как разжиревший тарбаган-суслик, деловито снующий по степи под холодным оком орла, — под неотступным, оценивающим, анализирующим взором монгольского государства. Давно уж созрела новая империя, — там, в глубине степей, — пусть не сверкающая шелка-

ми и золотом, пусть прокопченная дымом куренных костров и пропахшая войлоком, но хваткая и приемистая на бросок, словно рысь. И в глубине равнин Тарбагатая и Ордоса затаились в белой верблюжьей шерсти ханских шатров хладнокровные пауки, а нити их мирового заговора, имя которому — Покоренная Вселенная, тянутся далеко, ох далеко. На концах этих нитей — люди. Марионетки. Те, что устали от сытой вони старых царей, те, кому приелась их прогнившая власть. Или просто недовольные, обделенные властью и деньгами. Купцы, менялы, странники, дервиши. Мусульмане и буддисты, уйгуры и карлуки, кипчаки и китайцы... Тех, к кому в Великом Хорезме давно уже привыкли, — язычники? — пускай торгуют да помалкивают. Хорезм не оскудеет без них, но и их лепта найдет применение в свой срок. Падишаху нужны деньги. А кто ж их даст, как не еврейские или китайские торгоши? Для них ростовщичество — не харам*.

И год за годом невидимая глазам паутина кутала минбары и купола прозрачной шалью грядущих потрясений и бед, одевала тенью хаоса и смерти... И степные бродяги — с каких это пор? — стали глядеть в подернутую волнами раскаленного воздуха пустыни минаретную даль совсем по-другому. Грозил ли нагайками падишахским твердыням, щерились злобно волчьими зубами, прятали до срока злые усмешки в складках продубленной степными ветрами кожи. Знали, их час близок.

А Хорезм все трубил в курнаи, трубно прихрюкивал золочеными слонами, млел под индийские ситары и рубаи Хайяма в тенистых садах. И не ведали, — ни беки, ни визири, ни казии и законники, торговцы водой и надсмотрщики за рабами, — что прежней жизни скоро уже не станет. Лишь песок будет завывать в барханах да люди через века вспомнят, — как прозрачный сон, как сказку Шахерзады, — про страну грозного падишаха и белых крепостей, про журчание арыков и блеск шелков и драгоценных камней. Про страну, по которой, как бич божий, пронеслась лавина степной безжалостной войны...

* Харам (в исламе) — грех.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1219 ГОД

Глава первая

Пленница гарема

Протяжный клич муэдзина всколыхнул сонную одурь провонявшей потом и кислой овчиной казармы. Гулямы нехотя поднимались со своих глинобитных нар — канов, которые возводили они здесь по степной традиции, тянулись к выходу. Некоторые чесали бритые загорелые затылки, другие протирали глаза, третьи тянулись к фляжкам с кумысом, висевшим на поясе. В любом случае, вечерняя заря, дел никаких нет. Вечерний намаз — и отдыхай до утра! Хочешь — спи, хочешь — режься в кости до одури, или коротай часы бессменной службы (гулямы и на отдыхе служат!), слушая ленивый перебор домбры и протяжную песню, или трави бесчисленные степные байки... Тоска брала за глотку особенно сильно к вечеру — здесь, в этом унылом, постылом Хорезме, далеко от привольного разнотравья родных степей, от дыма полынных костров, от уютного войлока привольной, прохладной юрты, объятий ласковой девы... Здесь кого найдешь? Разве цыганских девок в квартале Грехов... Тьфу! Обрыдло все на чужбине — и кумыс-то не тот здесь, хоть и привозят его на базар местные пастухи, еще не забывшие, как готовить дедовский напиток, не то, братцы, не то! А еще в последнее время вместо кобыльего коровий норовят всучить! Позор! Нет, не место здесь, конечно, для удалого кипчака, совсем не место!

— А где ж место? — спрашивали друг друга гулямы-наемники, ища ответа в тоскливых глазах товарищей и, не находя, отводили свои. Домой дороги нет. Там — злобные бии, жадные как песок Каракумов. У одного овец отбили, у второго отца плетью забили насмерть, у третьего — невесту украли... Зверуют, свои же! И лежит, пропадает степь, тоскливо жуя жвачку былой дедовской славы — не хватает ее больше ни на что, кроме междоусобных свар... Где могучие каганы, где богатыри из седых песен? Даже курганы их — и те разграбили...

— Сказывают, что вот там, за западными морями, нашего брата привечают охотно тамошние ханы — мадьярский король, чешский, даже алманский... — бродили упорные слухи по казармам. — И платят не чета нашему жадюге Зулькарнаю...

Зулькарнаем с некоторых пор гулямы называли хорезмшаха Мухаммеда — так повелел он, ибо и впрямь возомнил себя наследником грозной славы Искандера Двурогого, с тех самых пор, когда, опираясь на сабли все тех же кипчаков, наступил на хребет персам, дополз змеиным брюхом до Хорасана. Что ж, называли, только прятали усмешку в вислых кипчакских усах, переглядывались задорно — знали: никудышный вояка из хорезмшаха, гроша ломаного он не стоит без сына своего Джелал-ад-дина, пустое место он без опытных тюркских военачальников...

Но... хоть и смеялись гулямы, да отдавали падишаху падишахово, имели уважение к его, пусть смешным, но заслугам, служили верно. А куда ж деться? Назад в степь, голодать или ноги биям лизать? Этот хоть кормит, да раз в несколько лет дает разгуляться нерастраченной на родине удали молодецкой. А западные ханы... далеко они уж больно — рукой не достать, и не одного коня поменять надо, чтобы добраться... А у них — один на брата, да и тот казенный...

— Эй, Кучук! — невысокий ростом, но крепко скроенный загорелый малый без особых церемоний пихнул загнутым носком узорчатого сапога похрапывавшего, растянувшись на кане, скуластого детину. Был он раскосым, даже по закрытым глазами видно, редкоюсым — видать сразу восточную породу. Косоглазый потянул в сторону дубленую складку щеки, которой в жизни не касалось лезвие бритвы, протянул недовольно:

— Ну чего еще?

— Молиться пора! — расхохотался его неугомонный товарищ.

— Слушай, Алпар, — взмолился Кучук. — Будь другом, будь братом, помолись и за меня тоже! А? — раскосые глаза смотрели на ухмыляющегося башкира с такой потешной мольбой, что тот не выдержал, хлопнул монгола по плечу.

— Ладно, так и быть, дрыхни! Как был ты язычником, так, видно, и подохнешь им! Но учти, если хальфа будет про тебя спрашивать, я тебя не видел!

— Я с ним разберусь, — не рьяный к правой вере монгол лукаво подмигнул Алпару и выпростав из-под тюфяка флягу запретной араки выразительно помахал ею.

Алпар прыснул в горсть — вся казарма знала тайную страсть святоши Ал-Мукарамы... Но первую каплю духовный наставник диких степняков обязательно стряхивал наземь, как и завещал Пророк каждому правоверному...

Товарищи считали, что им повезло — двум невесть откуда пришлым бродягам, даже и не кипчакам. Не прошло и трех лет службы, как нате, пожалуйста, — взяли в гарнизон самого падишаха, в самую что ни на есть гвардию! А ведь и в рядовые гулямы не каждого встречного-поперечного берут! Надо было иметь неплохие связи с воинским начальством, а это значило — быть представителем одного из семи кипчакских родов. Алпар и Кучук не были кипчаками и связей никаких, естественно, среди хорезмийских офицеров не имели. Но здесь выручил друг Нурулла — давний поставщик нескольких нужных людей. Нужные люди приняли двух оборванцев с распостертыми объятиями — и покатались дни службы, как по накатанной дорожке. Каждый год друзья продвигались вверх по ступенькам служебной лестницы, и окружающие завистники не догадывались, что каждое повышение двух везунчиков совпадало по времени с новым приездом тороватого болгарского гостя, — тот не забывал о своих протекже, не забывал и о нужных людях, привозил им то красивую наложницу, то воз ароматного меда, то коня с лебединой шеей и огненным дыханием пригонял из степи...

А вот теперь, когда двое были так близки к своей цели, о которой даже боялись говорить, дабы не сглазить давно уже продуманный план действий, вот теперь наступила пора проститься с добрым болгаром.

— Не у тебя одного есть сердце, Алпар, — говорил Нурулла на прощание. — Может, это и покажется вам безумным, но... Это настолько же призрачно, как и то, что вы задумали. Вырвать Каныкей из лап самого хорезмшаха? Эх, наберитесь терпения, братцы, и закусите удила. Да я и себе бы того же посоветовал, да вот... Чужим советовать легче.

Алпар и Кучук отводили глаза, соглашаясь. Знали, вот уже несколько лет гложет молодого купчину несбыточная мечта, почти болезнь, — вздорная, но привязчивая. А все началось с того треклятого пустынного миража: как увидал Нурулла плывущую по барханам черноокою индианку на послушном слоне, так и гложет его, иссушая, эта страсть... Вроде бы, чего еще надо человеку? И тридцати ведь еще нет, а уже полна казна денег, связи в Хорезме, дома, в Булгаре Великом, даже в Киеве, Владимире, Новгороде! Выбери любую деву! Ан нет... Крепко помутилась голова купецкая от индийского дурману...

Так и уехал Нурулла, оставил достояние отцов и наставления верному Тимер-Казыку, примкнул к каравану персов, шедшему через Балх к заветным городам Хиндустана, и поминай как звали. Раз уж поставил цель добыть свою призрачную красу неземную, так стало быть и не вернется без нее, или голову сложит на чужбине... Вот так-то!

Теперь они остались одни, не на кого было больше рассчитывать. Но Нурулла и так сделал для них много, даже слишком много. Похлопотал за друзей, и пожалуйста — готов им доступ к самой падишаховой твердыне, к ее садам и ... да, да, гарему. Гарему, где сохнут год за годом прекрасные букеты роз — девы со всего мира, оторванные от матерей и отцов, от ласк удалых егетов, и все ради того, чтобы раз в год или того реже удосужился отведать их прелестей престарелый боров, называющий себя вторым Искандером... О! При одной мысли об этом кровь вскипала в жилах Алпара, стискивал он кулаки, царапая ладони острыми ногтями в кровь, готов был волком на луну выть... Одно утешало — не досталась жирному борову ее первая ночь, нет! Первая ночь... там, в родных башкирских степях,

под соловьиные трели, у догорающего костра... полно, было ли это?

Алпару оставалось одно — набраться твердости, теперь, когда цель была так близка! Как долго он ждал этого! Рыская по степи, бродяга, изгой, оставленный без невесты, без матери, без рода, без крова... Лишь верный меч Урала грел его сердце в эти долгие степные ночи, и потом — на протяжении трех лет на кулак кишки наматывающей, нудной солдатчины. Как иногда хотелось пустить его в дело — вскрыть брюхо кое-кому из начальников, спесивых, забывших о родине, обрюзгших... Хвала Тенгри, были и другие — настоящие степные ветераны, волки. Те — да, те, конечно, помогали. И вот настал его час...

После молитвы в казарму вошли трое — их юзбаши (сотник), Салтанбек, и еще — батюшки! С самого ближнего круга. Знали гулямы — эти двое стерегут покой самого наместника божьего, земного воплощения Искандера Зуулькарнайна! Цепкие глаза падишаховых псов прошлись по казарме, пытливо изучая воинов.

— Так... вот этот, этот и... — посланцы помялись, затруднившись в выборе. Глянулся им было Кучук, да уж слишком лют взор его волчий под скошенными веками. Да и рожей не вышел. Падишах любил вокруг себя видеть таких, чтоб на персов смахивали, — изнежился, забыл облик степных предков... Да и немудрено — при дворе одни таджики. Даже и стражу предпочитал брать себе из канглинцев, горбоносых и чернооких.

— Эй, ты! — один из посланцев поманил Алпара к себе крючковатым пальцем.

— Ты из наших, из канглов? — любопытствовал он.

— Ага! — не раздумывая кивнул Алпар, шагнув вперед, стараясь сдерживать птицей бьющееся в груди сердце.

— То что надо! — канглинцы, падишаховы наперсники, удовлетворенно переглянулись.

— Собирайся! — юзбаши Салтанбек потрепал Алпара, не верящего еще своему счастью, по плечу. — Пойдешь в наряд, караулить гарем. Повезло тебе, парень, — шепнул он, щемоча Алпарово ухо колючим седым

усом. — Хоть краем глаза да полюбуешься на падишаховых зазноб. А ты малый не промах, смекнул, что к чему. Сказал бы, что башкурд — оплошал бы! Здесь в Хорезме и имени-то такого не знают...

— Удачи тебе, брат! — Кучук с чувством обнял горящего глазами Алпара, будто отправлялся тот в смертельный бой. Но так почти что и было, — ждал он этого так долго, и вот, надо же — есть все же Бог на свете, правда, есть! Знать, не зря прошел он обряд обрезания, принял святую веру, к которой склонял его еще Нурулла в далеком Булгаре. Впрочем, и выбора у него не было — где-нибудь в приграничье на язычников в числе падишаховых воинов смотрели сквозь пальцы, но здесь, в святая святых! Мухаммед, как и любой недалекий деспот, любил надевать на себя маску блюстителя веры... Хотя образ жизни вел самый что ни на есть языческий, непотребный. Хотя в этом, да не уступал предшественнику своему — Александру Великому...

— Настал твой час, Алпар, сын Караса из рода бурджан! — прошептал Алпар сам себе, шагая следом за угрюмыми падишахскими псами по переходам громады-дворца. Рука привычно погладила приятно охлаждающую сталь Уралова меча, — не подведи...

Нет, не радует души сладкострунный персидский саз, не волнуют прекрасные песни на дивном языке Рудаки и Хайяма, которые, стараясь, выводят соловьиными голосами мальчики-евнухи. Лишь жалость к ним сжимает сердце — ради утехи жирного самовластца лишили их мужского достоинства, заточили в золоченый склеп. Пока еще не страшно — юны, нежны, почти как девочки, а что же будет с ними потом? Что их ждет в обнищавшей на ощущения жизни? Гаремные склоки и интриги, обжорство и пьянство до упаду быстро превратят их в жирные, трясущие брыльями щек смехотворные образины, в которых мало чего будет человеческого. Каныкей, нахмурившись, хлопнула в ладоши,

музыка стихла. Мальчишки-скопцы недоуменно захопали стрелчатыми ресницами — как же так? Чем они прогневали прекрасную госпожу? Неужели плохо играли? А ведь старались, из кожи вон лезли — по повелению самого падишаха... Но, увы, не удалось им поднять настроение той, на кого пал его сегодняшней выбор, хмурой встретит она своего высокого гостя...

— Идите, куланята, идите, — поощрила Каныкей, — вы хорошо играете, просто замечательно, но... — прервав объяснения, она зачерпнула из вазы, стоявшей перед ней на ажурном столике, целую пригоршню персиков, несколько кистей винограда, совала юным кастратам, рассовывала по карманам их раззолоченных халатов засахаренный миндаль, фисташки, финики, халву...

Когда музыканты наконец покинули ее покои, кыргызская княжна без сил рухнула на шелковые подушки ненавистного ложа, широкого как сама степь Дешт-и-Кипчак... У нее не было сил ни плакать, ни биться как раненая птица, — занятия столь привычные для нее за три года заточения. Впрочем, для нее ли одной? Часто ночью слышала она заглушенные рыдания в подушку, доносящиеся из покоев других одалисок. Да, жизнь кончилась не для нее одной. Вся она превратилась в тягостное ожидание, — ожидание ненавистного хозяина, которого следовало встречать с улыбкой и бокалом вина на коленях. Хвала Небу, нечасто выпадало ей убажывать жирного борова, совсем нечасто... Да и то правда, — ей грех было жаловаться, — другим приходилось куда хуже...

Мстительная улыбка тронула вишневые губы Каныкей — нет, глупый Зулькарнай, так и не удалось тебе отведать моего лона! Знала наследница древних тенгрианских колдунов и тибетских мудрецов как наслать морок на пьяного старика, внушить ему призрачную любовную игру, происходящую будто наяву. Как часто она сидела, стараясь сдерживать смех, наблюдая, как изгибается на ложе одурманенный ее чарами старик, бормоча в гипнотическом транс нежные слова, обнимая несуществующую любовницу...

Но и это было противно до тошноты... Уже самый вид Мухаммеда вызывал у нее нервную дрожь... его колышущееся брюхо... тонкий капризный голос... маленькие глазки над вислыми красными, покрытыми паутиной апоплексических сосудов щеками... Только одним мог похвастаться падишах — своей попрежнему густой шевелюрой, некогда черной как смоль, а ныне белой как сахар, вот и все, пожалуй...

Каныкей спасали лишь сны... Там, во снах, далеких от тех, что она насылала на падишаха, была она за тысячи стрелищ от ненавистного Хорезма, выжженного пустыней и политого слезами дехкан, — в покрытой весенними маками башкирской степи... на горизонте вставала седая гора Иремель, и луга, поросшие кураем, пели свою древнюю гудящую песню двум счастливым как первопрередки влюбленным. Да, там, во сне, ее голова лежала на широкой и надежной груди Алпара, она чувствовала — будто наяву! — его сильные руки, слышала его залихватистый смех, отвечала на его улыбку... Ах, Алпар, Алпар! И дернул же тебя нечистый дух уйти к Иремели на бесплодные поиски этой проклятой серебряной лисы! Далась она тебе! О Небо — ведь он был еще так молод, не выветрилась еще в нем мальчишеская удаль, граничащая с бычьим упрямством! Раз решил — и не перелобанишь эдакого! А теперь... Полно, жив ли он вообще, ее возлюбленный?

Перед глазами вновь всплыла жирная маслянистая харя Сыйлабия:

— Теперь твой хахалек целуется с пустыней! Смирись, кыргызка, ты была слишком прекрасна для безродного дикаря, и он поплатился за это жизнью! Так выброси же из головы того, кого больше нет...

— Алпара нет? — прошептала она. Да, по всей видимости, это так. Вряд ли кто выживет, зарытый в песок почти с головой. Только чудо могло его спасти. И Каныкей, хотя и знала, что надежды нет, что все кончено, конечно навсегда, все же верила в чудо, так, как в детстве верила в древние сказки, которые рассказывал ей отец.

В золоченую дверь тихо, но требовательно постучали. Каныкей вздрогнула, кинула торопливый взгляд на бронзовое китайское зеркало, — нет, хорошо что все же не плакала, — оправила волосы, налила вина в бокалы, пропела с напусковой томностью:

— Войдите, мой падишах!

Но это был не падишах. Вместо его обрюзгшего тела в покои вынырнуло похожее на лису создание — округлая и будто бы осклизлая рожа с приклеенной фальшивой улыбочкой, хитрыми бегающими глазками, небольшим аккуратным тюрбанчиком, сидевшем щегольски, набекрень, на круглой кошачьей, сизо выбритой голове.

— Здравствуй, Ай-Нуха, — пропел вошедший.

Каныкей передернуло, — не переносила она эту рабскую кличку, под которой ей приходилось прозябать здесь, в хорезмшаховой клетке.

— Здравствуй, Али Маймун, — сухо поздоровалась принцесса.

А вытянутая мордочка главного падишахова евнуха дергалась, будто вынюхивая запах крамолы, ища дух неповиновения в покоях строптивой кыргызской полонянки.

— Светоч Вселенной уже близко! — со значением произнес шахский соглядатай.

— Я очень рада! — с деланной улыбкой отозвалась Каныкей. — А то я уж грешным делом подумала, что ты, Маймун, собираешься его сегодня заменить...

Удар был нанесен в самую точку. Евнух побагровел, не зная, как отвечать на подобный камушек в свой огород, ведь и честь, которой не было у него, задета за живое, а с другой стороны — затронут вопрос о падишаховой собственности!

— Ну что ты такое говоришь, Ай-Нуха? — заюлил он. — Или ты на солнце перегрелась?

— Я сегодня не покидала пределов своей спальни, и тебе это доподлинно известно! — фыркнула Каныкей. — Ведь у тебя уши за каждым кустом развешаны! Этого добра у тебя хватает, — тут она не удержалась, — чего о другом не скажешь!

Но Майун пропустил очередную колкость мимо одних из своих вездесущих ушей. В его мутных глазенках плескалось какое-то знание, — знание чего-то такого, что делало самый смех и заключенный в этом смехе бунт смешными и жалкими.

— А зря, зря, услада падишахова тела! — хихикнул он, возвращая ей тем самым брошенный камень, — знал, подлец, насколько противна Каныкей сама мысль об обладании ее хорезмшахом. — Ты много потеряла!

— Чего я там не видела? — Каныкей побледнела от сдерживаемого гнева. — Жирных павлинов? Или оттопыренные зады твоих шпионов под их хвостами?

— Если бы ты меньше думала, как обидеть своего доброго слугу Маймуна, то обратила бы внимание, что в саду, выходящем к твоим покоям, поменяли охранника. — Маймун заговорщицки подмигнул девушке.

— Мне нет дела ни до твоих, ни до падишаховых псов! — отрезала Каныкей.

— А зря... — Маймун прищелкнул языком. — А какой ладный парень! А как горят его жгучие глаза! Не о нем ли ты мечтала, когда пела свою степную песню?

— Пошел вон отсюда, старый лошак! — прошипела Каныкей.

Ее рука потянулась к столику за тяжелой бронзовой лампой, — готова была метнуть ее в голову назойливому, терзавшему ее душу соглядатаю, который и это успел пронюхать, но тут за дверями раздалось тяжелые грузные шаги и звуки знакомого визливого голоса.

— Цыц! — Маймун, забыв о перепалке, сделал страшные глаза и нырнул за шелковую портьеру к выходу из опочивальни — встречать своего господина...

Алпар выпятил грудь, набрал побольше воздуха в легкие и застыл как истукан — к нему приближался индюшачьей, переваливающейся походочкой сам властелин Востока, чьи владения простирались от Арала и до Персидского залива, от Мавераннахра и до Железных ворот Дербента. Дождался!

Хорезмшах Мухаммед, живое воплощение Искандера Зулькарнайна, был уже далеко не молод. Начав свое царствие в юные, полудикие годы, когда принял от прежних владык разоренную страну, он споро пошел вперед, вырвался, что называется, на оперативный простор, привлек из степи толпы голодных кичаков и повел их штурмовать далекие, сказочно богатые города Персии, Белуджистана, Афганистана... В свое время он был энергичным малым — загребущая была у него рука и завидующими глаза, хоть и вояка был никакой, а все же возродил империю хорезмшахов, лежащую в руинах, — помогли сноровистый ум, изворотливость в придворных и дипломатических интригах и дальновидные военачальники-степняки. Мухаммед не скупился на деньги — щедро одаривал своих воинов, а когда не хватало казны, отдавал, не скупясь, взятые города им на потеху. Но те золотые времена давно прошли.

Из шустрого паренька, надевавшего на себя смешной по тем временам венец захудалой восточной деспотии, превратился он в настоящего тирана — рыхлого, обрюзгшего, что твой павлин. Так ледащий, но задристый бойцовский петушок, потрепав старых самцов и потоптав всех видимых в округе кур, сам становится пестрой, одряхлевшей кучей пернатого дерьма — такого и в суп не положишь, и просто шею свернуть вроде тоже жаль. Так и жди, пока сам не сдохнет или не загрызет пробравшийся с воли оголодавший и неразборчивый в вопросах еды хорек...

С годами, — а сроку его правления минуло почти пятьдесят лет, — Мухаммед потерял любую гибкость ума, но взамен приобрел почти патологическую жадность, которая касалась всего в государстве, кроме его личных угод, маниакальную подозрительность; страстность, свойственная юности, развилась в нем в болезненное сладострастие и неумеренное похотливое желание обладать всеми приглянувшимися ему женщинами.

Мухаммед отправил в опалу, — кого в Иран наместничать, кого стеречь северные рубежи, кого и просто казнил по обвинению в государствен-

ной измене, — всех своих прежних соратников, окружил себя жирными и изворотливыми интриганами-евнухами, услаждал свой быт пышными парадами, на которых славилось имя нового Искандера, бесконечными пирами, перераставшими в разнузданные оргии, с голыми индийскими и китайскими танцовщицами на столах, содомистическими представлениями и прочими радостями незамысловатой тиранской жизни...

Теперь этот прожигавший запал своей голодной и злой юности в дым распущенной развратной старости человек ковылял прямо к Алпару. За ним тянулась вереница свиты: катились на одутловатых ногах уродливые карлики в потешно раскачивающихся султанах перьев на непомерно больших тюрбанах, семенили иссохшие и полубезумные китайские звездочеты, грузно вышагивали несущие опахала черные рабы-зинджи с золотыми кольцами в широких ноздрях и в золотых же, искусной чеканки ошейниках на бычьих шеях...

Не дойдя до заветной двери полуста шагов, владыка щелкнул жирными пальцами — пестрая стайка прихлебателей и подпевал тут же растворилась, оставляя тирана наедине с его новыми утехами. Теперь хорезмшах шел один, опираясь на инкрустированную тяжелую трость красного дерева, останавливаясь через шаг и натужно переводя апоплексическое дыхание, утирая пот, градом льющийся из-под шелкового зеленого тюрбана, ажурным газовым платком.

Смерив застывшего у дверей как изваяние воина затуманенным взором пороссячьих маленьких глазок, падишах растянул порочные толстые губы в милостивой улыбке.

— Новичок? — протянул он, надменно оглядывая очередного служаку.

Алпар молча кивнул и тут же откинул голову в стальном островерхом шлеме назад, плотнее прижал к кольчужной груди парадную алебарду. Меч Урала он так и не вынул из ножен, — тот висел за спиной, чтобы в нужный момент скользнула рука назад и сразу вверх, обрушиваясь на посмевшегося нарушить покой владыки в его святая святых. Впрочем, такая перспектива была достаточно

условной, — сады в гареме были и без того окружены тройным кольцом стражи, да и за деревьями, да и под каждым кустом, — всюду прячутся верные евнухи-соглядатаи. Солдат у дверей спальни был скорее данью стариковской подозрительности, а может, грешным делом, и извращенности — знать, возбуждал старика тот факт, что молодой и сильный парень будет преть под кольчужой всю ночь, слушая несущиеся из-за двери сладкие стоны...

— Хорошо, служи, служи... — пухлая ладошка потрепала воина по могучей кольчужной груди, так обычно треплют за ухом преданного пса, которого оставляют в будке, а сами идут в дом. Что ж, кто же еще гулям, как не пес при владыке-падишахе? Сам вчерашний волк, но послушный, и задача его главная — не пускать на двор своих вчерашних собратьев, тех, что предпочли гарантированной обглоданной кости у хозяйского порога, пусть голодную, но сладкую волю. Вот только не ведал хорезмшах, что в тот вечер на его псарню пробрался настоящий, а не ручной волк...

Но до поры до времени все шло как и всегда. Вот из дверей навстречу владыке выбрался-полетел на полусогнутых верный Маймун, припал к ногам, облизывал пухло-брезгливую ручонку властелина, заюлил, пуская слюну и заглядывая в глаза, — ни дать ни взять кастрированная болонка, которую в будке не оставят, возьмут в дом, положат на подушку... и будут вытирать об шелковистую шерсть засаленные руки...

— Н-ну как она? — пискляво пропел хорезмшах, обмахиваясь платочком.

— Как обычно, светоч Вселенной, — залепетал Маймун, делая скорбное лицо. — Нет с ней никакого сладу! Музыкантов прогнала взащей, в меня так вообще — лампой хотела швырнуть!

— Язычница! — усмехнулся Мухаммед. — Одно слово — дитя кыргызских гор... Вот таких я и люблю! А ты бы поласковее с ней, потеплее, — пожурил он евнуха.

— Как можно, мой падишах? Не приведи Аллах, подумает, что покушаюсь на добро властелина! — Маймун закатил глазки в притворном ужасе.

— Ты? — хорезмшах визгливо, истерично захохотал-заклохтал, затряслись отвислые брыластые щеки. — Чем же ты... чем же ты покусишься... на падишахово добро?

— Хи-хи-с! — угодливо вторил падишахову смеху изогнувшийся дугой Маймун. Когда надо, и сам был готов хитрюга выпятить свой изъян, обернуть его себе же во благо.

Не смеялся только Алпар. Оно и понятно — не положено по уставу. Но не о том думал парень, как угодить падишаху, а о его оброненных словах.

“Язычница... дитя кыргызских гор...” — звучало в ушах, будто шелом стальной отдавал эхом по голове. Нет! Неужели совпадение? А если...

Падишах тем временем, все так же повизгивая от довольного смеха, нырнул внутрь, а евнух, торопливо прикрывший за ним дверь, обернулся к застывшему камнем Алпару, подтянулся на цыпочках, похлопал его по гулкому стальному плечу.

— Будет сегодня кувыркаться с кыргызской царевной! — доверительно сообщил он воину, ернически подмигивая.

— Вот бы тебе такую, а? Ай, хороша-а, — протянул он. — Будь я мужик, вроде тебя, а не полубаба, не стерпел бы, ей-ей! — бередил он раны молча наливавшегося гневом Алпара. — А имя-то какое — Каныкей! По-нашему — Ай-Нуха! Ну ничего, ты глянь потихоньку, ежели невтерпеж станет — тут вот в занавеске дырочка есть... сам делал... — евнух облизал жирные губы, сморгнул масляными глазами и наконец умолк. И очень вовремя. Алпар был уже очень близок к тому, чтобы так не вовремя обнажить свой заветный меч.

— Ну ладно, это я так! Стой, служи... Терпи! Как говорят неверные христиане, Бог терпел и нам велел... — и исчез, растворился в сгущающихся сумерках.

Алпар до боли хрустнул костяшками пальцев, сжимая постылую алебарду. Что-то уж больно пронизателен этот склизкий недочеловек!

На этот раз новоявленный Александр Македонский раскис быстро и сразу. Хватило двух-трех бокалов

вина, он уже распустил сопли, запыхтел сладострастно, потянул жадные ручки к "своей ненаглядной принцессе" — так называл он всех своих милашек по пьяной лавочке, хотя, естественно, ни одна из них не могла и мечтать о настоящем титуле падишаховой жены. Старший сын его Джелаль-ад-дин был давно в опале, отправлен в Хорасан, на выселки, а всем двором заправляла любимица Мухаммеда — царевна Хан-Султан, женщина лет сорока, бывшая туркменская наложница, исхитрившаяся вычарапать из престарелого бабника титул любимой жены. У туркменки был свой сын, и она прилагала все усилия к тому, чтобы Джелаль-ад-дин сгинул окончательно, а у ее малыша не появилось конкурентов. За гаремом следили строго: едва любая из падишаховых игрушек разрешалась от бремени, как новоявленному отпрыску Мухаммеда мужского пола и звания приставлялись верные няньки и мамки, которые прилагали все усилия, что младенец отправился к праотцам раньше, нежели у него прорежутся зубки. Все делалось тонко и ловко и потому любая из падишаховых наложниц молилась Аллаху, чтобы он послал ей дочь...

Очередная "принцесса" улыбалась весьма благосклонно своему повелителю и владыку — в таком виде из старого дурака можно веревки вить. Стоило ей взять в руки персидский саз и тронуть его струны, запеть нежным, высоким, грудным голосом, как глаза падишаха остекленели, тронутые гипнотическим дурманом, веки набрякли — Мухаммеда неудержимо клонило в сон.

— Ах принцесса, — пробормотал он, засуетился, облизнул Каныкей и... зачмокал дряблыми губами, пуская слюни на ее плечо...

— Тварь похотливая, — прошептала Каныкей, брезгливо высвобождаясь из объятий старого свина и бережно укладывая его на кровать.

Когда до ушей Алпара донеслись сладостные звуки голоса возлюбленной, ураган чувств взорвался в его сердце. Он ловил ее пре-

красную песню каждой жилкой истрадавшего тела, каждой клеточкой истосковавшей души и... негодовал. Какой ужас! Она, его Каныкей, поет этому жирному негодяю!!! Воспаленный мозг уже рисовал ему предстоящие картины — вот мерзкий, старчески неопрятный хорезмшах кладет руки на гибкую талию его возлюбленной, вот он тянет к ней свои жирные губы, пытаясь запечатлеть на ее нежной как персик коже слюнявый поцелуй... Нет!!! Катись все к шайтану! Свистнул вынимаемый из ножен меч Урала, блеснул в сгущающейся хорезмийской ночи, и глаза отчаянного тюрка сверкнули как у рыси — мстительным и хищным огнем...

Каныкей душил спертый, провонявший перегаром из хорезмшаховой пасти воздух опочивальни, и не было уже сил терпеть омерзительное существо, раскиселившееся студнем по постели и стонущее, пускающая пузыри в объятиях любовного сна. Птицей метнулась Каныкей к занавеси, откинула ее, желая впустить в покои струю свежего воздуха, и... столкнулась грудь в грудь с закованным в тяжелую броню воином.

— О Тенгри! — простонала Каныкей, неожиданно ослабев, но сильные руки незнакомца, до глаз закованного в кольчугу, уже ловко и бережно подхватывали ее.

Наконец, овладев собой, Каныкей вывернулась из чужих рук, отскочила на целую сажень. Рука вновь потянулась за лампой.

— Убирайся, песь! — прошептала она. — Зачем ты шел сюда? Как ты смел? А, понимаю, — Каныкей сузила глаза. — Тебя послал Маймун — проверить не убила ли я падишаха? Можешь удостоверить — светоч Вселенной изволит почитать. Так что возвращайся на свой пост и больше не показывайся мне на глаза! Так и быть, я умолчу о твоём проступке, не стану жаловаться падишаху, когда он очнется ото сна!

Воин, по-прежнему не говоря ни слова, развернулся и уже пошел к вы-

ходу, как неожиданно сердце Каныкей дрогнуло.

— Постой, не уходи, — сорвались с губ нежданье слова. Воин замер на месте, не поворачивая головы. А Каныкей уже брала его за руку, усаживала на мягкой ковер перед кроватью.

— Скрась мое одиночество, служивый! — шептала Каныкей. — Прости, я не могу подарить тебе улады, которые обязана оказывать вот ему, но не потому, что принадлежу этой образине! Да, да, я не боюсь этих слов! Если ты выдашь меня, что ж, так тому и быть! Лучше смерть, чем подобное прозябание!

— А почему ты не можешь наградить меня лаской? — голос воина был глух, гулок, он говорил, не снимая шлема, а рот его был закутан шелковым шарфом. — Ведь я — солдат, я терплю лишения!

— Я понимаю, о воин! Но... не могу! У меня есть возлюбленный!

— Возлюбленный? Ха... — гулко рассмеялся воин. — Забудь о нем. Он верно умер...

— Откуда ты знаешь? — похолодела сердцем Каныкей. Неожиданно она кинулась на колени перед незнакомым солдатом, схватила его за кольчужный рукав. На глазах ее блестели слезы.

— Я знаю, ты — кипчак! Быть может, ты недавно здесь, в Хорезме? Расскажи мне вести с воли, что творится в Степи Дешт-и-Кипчак? Нет ли в степи вестей о башкире по имени Алпар?

— Алпар? — помедлив, отозвался воин. — Мне не знакомо это имя. Хотя... — он высвободил руку из ладони Каныкей, глубоко задумался.

— Да, кажется, что-то слышал. Но в Степи его нет.

— Так где же он? — всхлинула Каныкей.

— Не знаю! — воин развел руками. — Ведь это твой возлюбленный! Неужели твое сердце не подсказывает тебе, где его искать? Или, быть может, твое сердце уже уснуло и осталась лишь смутная тень — не по любви, а по долгу памяти? Разве ты можешь вернуться к нему теперь, будь он даже жив? Ведь ты же изменила ему! Пусть не по своей воле, но все же... Для вас обоих будет лучше, если он будет мертв...

— Зачем ты так говоришь? — прошептала Каныкей. — Я до сих пор верна своему Алпару, так и знай! Эта жирная тварь так и не полакомилась мной! Ха! Многие под силу думачи кагана кыргызов! Он и сейчас думает, что держит в объятиях мое тело!

— Хм! — странное удовлетворение промелькнуло в голосе воина. — Мне говорили, что ты — колдунья!

— Твой голос кажется мне знакомым, воин, — помолчав, произнесла Каныкей. — Покажи мне свое лицо, быть может, я видала тебя в степи?

— Быть может, — загадочно ответил воин.

— Тем более, что меня ты уже видел без паранджи, а ведь за это полагается смерть.

— Я не боюсь смерти! К чему бояться смерти тому, кто и так давно умер! — рассмеялся незнакомец.

— Ты меня пугаешь... — прошептала Каныкей. — Подожди... Я зажгу лампу.

— Не надо! — незнакомец перехватил ее руку. — Ни к чему лампа той, что несмотря на свое ведовство так до сих пор и не догадалась, где ей искать своего возлюбленного. А ведь он совсем рядом!

Алпар сорвал шлем с головы и... в следующую миг зажал ладонью рот Каныкей, с которого сорвался приглушенный, надрывный полустон-полувопл. В следующее мгновение, длившееся вечность, Каныкей и Алпар слились воедино в жарком и страстном поцелуе двух истстрадавших душ.

И лишь мычание приходящего в себя Мухаммеда вырвало двух несчастных из сладкого забытья.

— О? — пробормотал падишах, приходя в себя. — Но как же? Ведь это же... это же я только что целовался с ней? Как это так?

— А вот так! — хлесткий удар дюжего башкирского кулака, направленный прямо в низкий, сморщенный лоб, вернул новоиспеченного Искандера обратно в царство грез.

— Лучше уходи, Алпар! — Каныкей уперлась руками в грудь возлюбленного, низко опустила голову. — У нас нет никакой надежды! Сад оцеп-

лен стражей, а под каждым кустом шпионы мерзкого Маймуна!

— Да, я уйду! — упрямо помотал головой Алпар. — Но только вместе с тобой!

— Нас убьют, — тихо прошептала Каныкей. — Обоих.

— Я же говорил тебе, что давно уже мертв, — горько ухмыльнулся Алпар. — К чему мне жизнь без тебя? Уж лучше умереть вместе!

— Хорошо! — на губах Каныкей мелькнула отчаянно-бесшабашная улыбка. — Так тому и быть! Действительно, миг счастья стоит ста лет бездарной жизни!

Оставив мычащего в тяжелом забытии хорезмшаха досматривать сладкие сны на кровати, влюбленные выскользнули в прохладу черной как белуджийская шаль южной ночи. Алпар, крепче прижав к себе возлюбленную, приглушенно рассмеялся.

— Тихо, безумец! — палец Каныкей прижался к его обветренным губам. — Здесь у каждого куста уши!

— Обрубим! — без обиняков заявил Алпар. В темном воздухе молнией свистнул меч Урала. — Как гяурским свиньям!

— Это и есть тот самый меч? — прошептала Каныкей, ее глаза мерцали как изумруды в крошечной тьме.

— А как ты думала? — Алпар сверкнул белыми зубами. — Тот самый меч. Мое проклятье и моя судьба. И я проложу им путь к нашему счастью, чего бы мне это ни стоило!

— Все стоит денег, дети мои! — приглушенный ехидный голосок раздался у самого плеча Алпара. Башкир развернулся, сжимая меч, — перед ним был Маймун.

— Стой, сын Башкурдистана! — внук предупреждающе воздел вверх одутловатые руки, попятился. — Много ли тебе даст моя смерть? Моя жизнь и без того ничтожна, так не лишай меня хотя бы той малости, что отпущена мне творцом! Убей меня сейчас — и тебе не жить и двух вздохов! И подумай, что ждет твою возлюбленную?

— Что-то ты много знаешь! — глаза Алпара подозрительно сузились. —

И о том, что я — башкир, и о том, что она — моя возлюбленная? Кто ты, внучух?

— Многое ведомо Али Маймуну, дети мои! — хихикнул кастрат. — Но не бойтесь меня! Я на вашей стороне. Вся стража этой ночью в моих руках! У восточной ограды дворца вас ждут три оседланных коня. За оставшееся до рассвета время вы сможете покрыть немалый путь.

— Почему три коня?

— А ты что, оставишь своего друга на растерзание шакалам падишаха? — ухмыльнулся Маймун. — Поспешите, дети мои. Кучук ждет вас.

— Постой! — Алпар схватил внука за руку, взгляделся в его бегающие глазенки. — Тебя послали друзья Нуруллы?

— Неважно, сын мой, неважно! — бормотал внучух. — Но за все заплачено.

— Ясно! — кивнул Алпар. — Не будем терять времени даром!

Кучук, как и было обещано неожиданным союзником, ждал у ограды — с внутренней стороны. Краткое рукопожатие — и в путь. Монгол молча указал другу на свешивающуюся с ограды веревку — неведомые доброжелатели уже успели облегчить им путь на долгожданную волю. Алпару на какой-то миг показалось, что в темных кустах шевельнулась чья-то тень, блеснула стальная броня, но он тут же успокоил себя, вспомнив слова внука о том, что вся стража в его руках. Но с какой целью? Действительно ли такая оказалась могучая поддержка влиятельных товарищей Нуруллы или ... или они играли в чью-то темную игру? В паутину какого темного и мрачного заговора против хорезмшаха они были вовлечены? Но времени на раздумья не было. В любом случае — за оградой падишахова дворца было гораздо лучше, нежели внутри. И они сделали свой выбор. Впрочем, недаром говорят на Востоке, что самый лучший выбор делаешь тогда, когда у тебя нет другого выбора...

Вестник тьмы

Припадок начался также внезапно, как и всегда, — сноровистые холуи, только что сновавшие по юрте, моментально напряглись, когда увидели остекленевшие глаза господина, его трясущиеся руки, услышали дробный стук зубов. Осторожно вывели под руки не видящего ничего вокруг шамана в степь, к алтарю, смутно белевшему в сгущающихся сумерках, и удалились бесшумно, оставив Толкователя Небесной Воли наедине с его видениями.

Некоторое время Кокэчу сидел неподвижно, будто вглядываясь помертвевшими глазами в холодный сумрак монгольской ночи... Затем его уха коснулись белые совиные крылья. Жертвенный камень, у которого, преклонив колена, сидел шаман, неожиданно утробно загудел, будто не в силах выдержать груз того, кто только что приземлился на него. А ведь это была всего лишь сова. Или не сова?

Странные метаморфозы происходили с белым пернатым существом, оправлявшим крылья на алтаре. В подернутой туманной дымке расширенные зрачки Кокэчу узрели, как меняются очертания совиного тела, увеличиваются в размерах, как сползают наземь уже более ненужные крылья, как вытягиваются когтистые лапы...

— Приветствую тебя, Кокэчу! — каркнула преображенная тень, легко прыгивая с алтаря и крадущимися, нечеловеческими шагами приближаясь к застывшему на месте шаману.

— Здравствуй... Вестник! — прошептал шаман. Если бы слуги не были столь вышколены и загуганы бесноватым и скорым на расправу Кокэчу и дерзнули бы посмотреть за его трансом, то увидели бы, что их хозяин разговаривает с пустотой...

Очертания названного Вестником существа стали четче, но так и не оформились до конца — через его аморфное тело просвечивала тень алтаря и степь, убегающая вдаль — к Каракуруму, к его стенам и царственной каменной черепахе, продолжавшей свой вековой путь у городских ворот. Сам же облик неведомого существа

мог вселить ужас в кого угодно... Запавшие глазницы... Плоский, будто приплюснутый череп. Непропорционально маленький нос, точнее — только щели на месте ноздрей, змеиный язык, то и дело облизывающий ороговевшие тонкие ниточки синих губ...

— Почему ты никогда не называешь меня Тэб-Тенгри? — недовольно протянул шаман. — Кокэчу — это ведь простое степное имя, которое дали мне при рождении. Великий хан называет меня не так.

— Твой Великий хан может называть тебя как ему заблагорассудится, Кокэчу! — усмехнулась тень. — А я не желаю произносить само имя, коим нарекли тебя глупые старики. Какой из тебя толкователь небесной воли, сам подумай? Небо... Ха! Мой владыкка гораздо древнее и куда могущественнее твоего неба! Он был уже тогда, когда самый мир еще не был расколот всмятку и пребывал в первородном яйце. Ведь когда вылупился из него Змей Вечной Ночи, осколки скорлупы стали небом, а все остальное поделили между собой земля и другие стихии. Самый мир — это только отрывок Великого Змея, его послед. А на самом деле нет даже моего властелина. Ибо Змей — это только символ. Да, Кокэчу! Змей, кусающий себя за хвост, это и есть символ первородного хаоса, абсолютной пустоты, из которой все вышло и в которую все канет. Ибо на самом деле есть только она...

— Пустота? — произнес Кокэчу.

— Да! А материальный мир — лишь иллюзия, маска на голом черепе хаоса! И имя этому черепу — Великий Змей Вечной Ночи!

— Значит и ты — иллюзия?

— Я — только призрак! — рассмеялся ночной гость. — Мне много тысяч лет, и давно уже прошли те времена, когда мой младший брат загнал меня с моими настоящими братьями в подземные воды. Меня уже не должно быть, но я жив. Ибо жизнь и смерть для меня — едины! Я сам смерть!

— Но почему?

— Потому что все, что есть — это я. И все, чего нет — это тоже я, — змеино улыбнулся пришелец из тьмы. — Поэтому проси у меня все, чего угодно тебе. Или твоему хану. Ведь его аппетиты растут?

— Да уж, — не сдержал усмешки шаман. — Все ему мало, этому Темучину. Теперь ему уже недостаточно власти над земными просторами. Ему подавай все!

— Он и получит все! — заверил Кокэчу его ночной гость. — Мой хозяин щедр. Проси — и он даст! Черпай из простоты все, что тебе нравится! Хочешь, чтобы все земные ханы пали перед тобой ниц? Хочешь слышать предсмертные хрипы их детей и жен? Хочешь видеть цветущие города, лежащие в руинах, а на месте голой степи — сказочные дворцы? Все будет! И уже есть!

— Но почему все именно так? — недоумевал Кокэчу. — Почему для того, чтобы победить и получить все, надо пролить столько крови? Ведь и я, и мой владыка — мы же тоже люди, не вампиры! Ты думаешь, в наших ушах не звучат крики убиваемых, не мерещится пролитая кровь? О-о-о... Сколько ее было там... в Китае... По улицам Чаньани можно было плавать в ладе...

— Тебе следовало искупаться в крови, Кокэчу. Это продляет жизнь, — усмехнулся монстр.

— Но я не хочу... — Кокэчу победил как смерть. — Я только человек. Я не призрак, не живой мертвец! Меня страшит мое посмертие.

— Ты уже давно там, Кокэчу! — расхохотался ночной визитер. — Стоило тебе лишь заключить сделку с Тьмой — и назад уже ходу нет. И прекрасно! Ведь теперь все в твоей власти! А насчет человека? К чему тебе это звание? Человек жалок и ничтожен. Он слаб. Он слишком привязан к этому миру цепями плоти, и цепляется за них даже на последнем издыхании! Ты только послушай, как они называют себя — рабами божьими! Ты что, хочешь быть рабом? Ты и так раб здесь, а будешь рабом еще и там!

— Нет! — зашептал Кокэчу, размахивая перед собой руками, будто отгоняя навязчивые воспоминания. — Я родился в рабстве... бежал... скитался по холодным горам... Потом меня взяли к себе тибетские монахи! Но они тоже требовали от меня покорности! И я бежал! Я не желаю больше

быть рабом! Ни рабом Великого хана! Ни рабом Бога, кем бы он ни был!

— Бог один, Кокэчу! — вкрадчиво напомнил призрак. — И имя ему — Пустота! Но пустота не требует от тебя, чтобы ты признал себя ее рабом! Ей нет до этого никакого дела! Хочешь быть свободным? Будь им! Так проси же... свободный раб... — уже тише добавил монстр, но Кокэчу этого уже не слышал.

— Отдай Чингизу Хорезм, — глухо попросил обессиленный разговором с тьмой шаман.

— Будет сделано! Чего еще пожелаешь?

— Дешт-и-Кипчак, — продолжал перечислять Кокэчу, загибая пальцы. — Землю Урусов и гурджиев*, болгарские и мадыарские земли. Алманию...

— Не все сразу, Кокэчу! — монстр заулыбался, замахал нетопырьими иссохшими руками. — Смотри, не подавился бы твой хан! С Алманией подождем. Эдак тебе и Франкию отдать придется! И вообще — нельзя же только просить! Моему повелителю тоже надо кое-что взамен!

— Но что еще? Свою душу я ему уже продал! — поморщился Кокэчу. — Душу Чингиза? Да уж три раза прозакладывал, хотя он об этом и не знает, олух эдакий!

— Нужны мне ваши души! — фыркнул монстр. — Мне нужна кровь! Горячая, живая кровушка. Женская очень подойдет! Как насчет царевны?

— Какой царевны? — насторожился Кокэчу.

— Не юли, шаман! — расхохотался змеглавец. — Ты давно уже ведешь двойную игру! А это нечестно по отношению к моему владыке! Решил своим умом двигать историю? Захотел воззвать к духам первопредков Темучина? Глупец! Что они могут? Отдать вам Вселенную? Они и сами не смогли ее завоевать! Тем более теперь. Ничего не выйдет из твоего ритуала, Кокэчу!

— Но почему? — недоумевал шаман.

— Рано ты сбежал от своих учителей, недоучка-шаман! — продолжал ехидничать змееголовый. — А то узнал бы, что нет смысла в обряде, в ко-

* Гурджии — грузины (прим.автора).

тором участвует не девственница! А твоя княжна давно уже отдала свое драгоценное девичество этому безродному башкиру! Но я пожалел тебя, Кокэчу, не стал разочаровывать. Просто взял — и отдал ее в руки хорезмшаху.

— Так это ты? — взвился шаман, видно, забыв, с кем разговаривает.

— Кто же еще? А кому же еще служит Сыйла-бий, как не мне? Ну не дуйся! Все мы служим Пустоте, друг мой, какие между нами могут быть счеты?

— И то правда, — пробурчал шаман, соглашаясь с очевидными вещами. — Но теперь ее везут сюда. Что же мне делать с нею?

— А очень просто! — улыбнулся змееглавец. — Прирежешь ее на алтаре как жертвенную овечку — и все дела. И Хорезм твой! И Дешт-и-Кипчак!

— Хорошо, — с натугой согласился Кокэчу. — Я, правда, не знаю, как смогу объяснить это Чингизу. Сам же знаешь, как он трепещет перед памятью предков.

— Пустое, Кокэчу, ты легко переубедишь его! — широко улыбался посланец ада. — А когда он согласится и попросит еще чего-нибудь, тогда можно будет из него веревки вить. Тогда-то и настанет самое главное его испытание! А его мало кто смог пройти! Искандер, например, так и не смог решиться...

— Какое испытание?

— Испытание на власть над земным миром, — охотно отозвался монстр. — Испытание довольно легкое. Достаточно принести в жертву своего первенца! Но, самое главное, потом об этом не жалеть! Ни в коем случае! Иначе его смерть потеряет всякий смысл и не видать Чингизу власти над Вселенной!

— Он не будет жалеть, — расхохотался Кокэчу. — Джучи он с легкостью отдаст тебе на съедение! Ведь он же не уверен в нем до конца!

— Это его дело! — мягко отозвался змей. — Нам виднее... Убеди Чингиза, что если отдаст тьме первенца, то получит и землю Урусов, и Кавказ, и мадьяр, и болгар, и других болгар, тех, что на Дунае...

— А Запад? — оживился Кокэчу.

— А это уже будет другая сделка! — прошелестел монстр, испаряясь во тьме. Кокэчу вздрогнул, медленно приходя в себя. В чернильной мгле монгольской ночи смутно белела величественная уйгурская черепаха — символ вечности, да шелестели вдалеке крылья улетающего в пустоту вестника тьмы...

Глава третья

Оскал рока

И опять перед ними была пустыня — жгуче знойная, выжимающая последние капли влаги из тела, и люто холодная ночью, когда иней оседает на волосы и зубы выбивают барабанную дробь.

Хорезм был позади, лишь его далекие минареты сияли на нестерпимо ярком белом пустынном солнце, напоминая о прошедших страхах и страданиях. А о будущих думать не хотелось, верилось, что теперь все будет по-другому.

На этот раз трое беглецов ехали без проводника, но Кучук и Алпар, уже одолевшие один раз путь от Булгара до Хорезма, помнили на зубок, где им следует останавливаться, где искать воду в Голодной Степи, — сказывались уроки мудрого Тимер-Казыка. И маленький караван уходил все дальше от белых падишаховых твердынь.

Порой друзьям мерещился отдаленный стук копыт в необъятных просторах, и тогда сжималось сердце в неминуемом ожидании погони и хотелось слиться с барханами, зарыться в них подобно гюрзам или сусликам. Но шел уже четвертый день пути, а погоня, если она и была послана вдогон, не появлялась. Да и немудрено — беглецы двигались весьма замысловатым маршрутом, путая следы. Воды в бурдюках было вдоволь и кони еще не выбились из сил, но Кучук и Алпар знали — еще один-другой мучительный переход, и они выйдут к первым поселениям канглов. Там можно было перевести дух, поменять коней на верблюдов и идти далее, убегая от жгучего солнца, навстречу Полярной звезде и манящему прохладой разнотравью степи Дешт-и-Кипчак...

На пятый день пути Алпар остановил коня, давая сигнал друзьям остановиться. Спешившись, башкир направился к возвышавшемуся недалеко от караванной тропы холму-тепе. Здесь он остановился и молча опустился на колени. Противоречивые чувства бушевали в юноше. Именно здесь три с лишним года назад все и случилось...

Здесь его застали врасплох чернотелые налетчики, здесь он был зарыт в песок и здесь же, вот под этим самым холмом, встретился он со своим предком — последним ханом Древнего Кангюя, священным Боскуртом...

Подошедшая Каныкей обняла задумавшегося Алпара за плечи. Он обернулся не сразу.

— Вот здесь я уже умер один раз, — пробормотал он, указывая на песчаный холм. — И здесь же воскрес. Три года назад я шел по пятам за вашим караваном, за Сыйла-бием и тобой. Здесь меня схватили и закопали в песок.

— Я знала, — молвила Каныкей. — Хоть мне и не говорили, но я чувствовала, что ты рядом... что ты в беде. Я была почти уверена, что тебя больше нет.

— Меня спасло чудо, — ответил Алпар. — Волк... или человек? Призрак, дух... — он неожиданно осекся и, схватив Каныкей за руку, указал вдаль. Вглядевшись до боли в глазах, девушка увидела — по песчаному склону холма тянется вереница звериных следов...

— Волчьи следы, Алпар! — прищурился подоспевший Кучук.

— Да, — Алпар загадочно улыбнулся. — Это Боскурт! А я не встречался с ним вот уже три года.

— Так почему же он появился снова? — недоумевал Кучук.

— Не знаю... Возможно, он хочет что-то сказать мне... быть может, предупредить? — Алпар напрягся. Затем вскочил, подбежал к холму и, припав к песку, принялся изучать следы.

— Следы не успел замести песок, — пробормотал он сквозь зубы. — Значит, свежие. Он где-то рядом, я чувствую это!

— Боскурт! — закричал он, распрямляясь и прикладывая руки ко рту в виде рупора. — Где ты?

Но даже эхо не ответило ему. В пустыне не бывает эха. Лишь шорох осыпающегося под порывами знойного ветра песка да шелест унылых перекати-полей...

Маленький отряд беглецов был уже почти в руках погони, высланной мстительным, очнувшимся от сонной одури хорезмшахом. Долгие ночи и дни войны шли след в след трем дерзновенным, и вот теперь, казалось, все было в их руках. Следопыты, посланные в дозор, доложили своему командиру — это был все тот же Салтан-бек, столь опрометчиво отправивший Алпара на его пост:

— Они стали лагерем у песчаного холма!

— Странно! — недоумевал Салтан-бек. — Здесь нет ни колодца, ни какого-либо жилья... До первых канглинских стойбищ еще идти да идти... Какого шайтана им здесь надо?

— Прикажете брать? — поинтересовались застоялые псы, поигрывая саблями, засидевшимися в ножнах.

— Немного подождем, — остудил их пыл старый, мудрый вояка. — Сначала поглядим, что у них на уме...

... Но Салтан-беку не пришлось долго изображать из себя зоркого степного орла, который следит из поднебесья за суетливой беготней суслика, зная, что в любой момент ему достаточно спикировать вниз и закогтить несмышленища...

Отчаянный рев верблюда отвлек его внимание в тот самый сладостный момент, когда ему казалось, что все в его власти. Погоню сгубило самое слабое ее звено — обоз, тянувшийся за ней следом, с тюками провизии и воды. Хорезмшах явно переборщил — выслал за тремя посягнувшими на его имущественное право целую сотню кипчаков. Впрочем, новый Искандер давно уже был не в ладах с арифметикой...

Огромный белый волк, выскользнувший невесть откуда, закогтил верблюда за горбы и теперь слился с ним в единое целое, катился с ним по песку, поливая его ручьями крови и

шерсти, летящей в разные стороны. Тщетно обозные пытались спасти животинку, крича и ударяя в медные щиты, — волк, казалось, совершенно не реагировал на шум, методично и хладнокровно совершая свое кровавое дело.

— Айт, шайтаны! — кричал Салтан-бек. — Стреляйте в него!

Но караванчики лишь пятились в стороны, да и воины тоже, надо признаться, малость стухнули — ни один из них так и не удосужился взять наизготовку свой лук, стачанный из рогов горного козла, тот самый знаменитый степной лук, из которого можно было подбить жаворонка, парящего в рассветном небе.

— Это священный волк, Салтан-бек, — бормотали кипчаки, — кокбуре... Стало быть, Небо гневается на нас...

— Да стреляйте же, мать вашу! — ярился Салтан-бек. В отличие от своих подчиненных - пограничников, недавних выходцев из степи, он прожил в Хорезме достаточно долго, чтобы уяснить себе, что нет ни Неба, ни даже Аллаха, — так он во всяком случае думал, — есть лишь судьба и удача, которая то одаряет тебя из своих щедрых рук, то показывает свой не лишенный изящества, но от этого не менее неприятный зад... На этот раз фортуна продемонстрировала свою изнанку во всей своей красе...

— Суеверная сволочь! — навзрыд выкрикнул Салтан-бек. — Щас... покажу я вам волю Небес. Ну-ка, посторонись!

Хорезмшахов наймит вздыбил вышколенного на дикого зверя коня, замахиваясь булатной саблей, но и волк был не лыком шит. Как-то ехидно, так показалось распаленному Салтан-беку, ослабив желтые окровавленные клыки, волк отскочил от задранного верблюда на добрую сажень и припустил рысцой в барханы.

— С-сука! — выдохнул Салтан-бек, пуская верного коня вскачь. — Врешь, не уйдешь...

Но он был не прав. Волк уходил от него легко, даже играючи, будто балуясь. Кованые копыта глубоко увязали в песках, чего нельзя было сказать о волчьих лапах — этот, казалось, будто летел по барханам, да еще и оглядывался, будто пригла-

шая принять участие в навязываемой им игре. Потом, когда по приказу хорезмшаха Салтан-бек был прикован к позорному столбу на Площади Павших, он не раз вспоминал с проклятием эту игру, в которую заставил его сыграть проклятый зверь.

Как бы там ни было, но все было упущено. Увлечшиеся погоней за волком, наймиты хорезмшаха прозевали все — и то, как преклонял колена перед холмом Алпар, и то, как вылетели из-за него на легких монгольских конях свирепые скуластые воины, и, налетев, скрутили враз всех троих беглецов.

Силы были слишком неравны, — увы, как и в тот, прошлый раз, когда Алпару пришлось иметь дело с людьми Сыйла-бия...

— Прости, Алпар! — говорил Кучук, разжимая стиснутые губы недавнего друга и стараясь влить в них немного воды. — Я не мог поступить иначе... Мой долг перед ханом... я выполнил его.

— Предатель! — Алпар выхаркнул в смуглое широкое лицо монгола сгустки окровавленной слюны.

Кучук не имел силы даже утереться, лишь скорбно молчал, поигрывая камчой. Что тут скажешь? Предал друга, зато послужил Потрясателю Вселенной. Ведь он знал, знал с самого начала, смысл той подлой игры, которую затевал Маймун в гаремных садах. Увы, он ни чем не мог помешать шпионами Джихангира. Слишком давно, еще в первый год их службы, они пришли к нему и напомнили о его долге перед империей...

— Успокойся, Кучук! — Сыйла-бий, да-да, тот самый Сыйла-бий, что три года назад оставил его умирать в степи, теперь подходил к нему, благосклонно трепал за холку. — Ты поступил мудро...

— Сотник Кучук! — огрызнулся монгол, кидая на своего нового хозяина затравленный свирепый взор.

— Тысячник Кучук! — мягко поправил его мерзкий толстяк. — По приезду в Каракорум тебя будет ждать серебряная пайцза с изображением сокола... Голова Турумтая при тебе?

— Она всегда со мной, — горько ухмыльнулся монгол. Он красноречиво поглядел на свои обезображенные запястья.

— Пустое, тысячник, — хихикнул Сыйла-бий. — Кто старое помянет, тому глаз вон! Не правда ли?

— Ты сильнее меня, Сыйла, — помедлив, отвечал Кучук, и лишь играющие желваки на скулах выдавали его мучения. — Тебе видней!

— Мне нравится ход твоих мыслей, тысячник Кучук! — пропел Сыйла...

— Я прямо даже и не знаю, как с тобой поступить, Алпар! — Сыйла-бий улыбался, как и всегда, похлопывая нагайкой по мягкому голенищу щеголеватого сапога. Казалось, улыбка приклеилась навеки к этим жирным масленистым губам и ничто не было в силах согнать эту лисью маску с мерзкой рожи еланца.

— Закопать тебя в песок, как когда-то? По-моему, слишком пошло! — размышлял он вслух. — Я не люблю повторений... Просто прирезать как свинью? Слишком избито! Пожалуй, я могу предложить твоему недавнему другу, чтобы он разобрался с тобой по-свойски. Эй, Кучук! — повелительно скомандовал он. — Ну-ка, покажи свою удаль — сделай так, как положено по священной Ясе — разорви грудную клетку этого дерзновенного! Да-да, голыми руками... Я хочу видеть его сердце!

— Не дожدهшься, Сыйла-бий! — глухо отозвался Кучук. — Быть может, я подлец и предатель, и Митра, возможно, покарает меня, но я не запятнаю своих рук кровью человека, который спас мне когда-то жизнь...

— Ай-яй-яй, Кучук, ай-яй-яй, — укоризненно покачал головой толстяк. — А я был о тебе более высокого мнения! Ну ладно! — очевидно, в изощренный ум еланского бия закралась какая-то новая мыслишка, он плотоядно улыбался, то и дело облизывая пересыхающие на пустынном ветру порочные, жирные губы.

— Мы дарим тебе жизнь, Алпар! — надменно произнес толстяк, небрежно пихая связанного по рукам и ногам башкира носком сапога.

— Там, за холмом, тебя уже ждут... Да-да, это люди хорезмшаха! Я ду-

маю, им есть о чем с тобой побеседовать! А нам, пожалуй, пора...

Каныкей, опять, как и три года назад, спеленугую в ковровые накидки, небрежно швырнули через седло низкорослого монгольского коня. Везти драгоценную ношу поручили "отличившемуся" Кучуку.

— Эй, Кучук! — неожиданно выкрикнул оставленный в своих путях лежать на песке Алпар. — Если осталось в тебе хоть что-то святое, береги Каныкей!

Кучук не ответил, лишь молча кивнул, поудобнее перехватывая лежащую на луке седла девушку. За его спиной торчала рукоять заветного Уралова меча...

— Прости, друг, — шептал монгол не оборачиваясь и лишь сильнее охватывая коня нагайкой. — Я не мог поступить иначе... Это мой долг перед Джихангиром, он сильнее меня...

Кавалькада монгольских всадников летела по пустыне, оставляя за собой тучи вздымаемого к равнодушному иссохшему небу песка. Когда пыль улеглась, из-за холма показались блестящие островерхие шлемы хорезмийских наймитов...

Над опустевшей голодной Степью сгущалась непроглядная тьма, и равнодушный ветер заметал следы за двумя караванами, путь которых лежал в противоположные стороны. И лишь на вершине холма надрывно выл на луну старый седой священный волк. Спасая друга от одной напасти, он не успел предотвратить второй...

Увы, ничто более не могло спасти Алпара и Каныкей. Опять в их судьбу вмешались темные, злые силы, разлучая возлюбленных, на сколько? Быть может, навсегда? Казалось, сама судьба смеялась над ними, подарив им краткие дни счастья, и лишь затем, чтобы снова вырвать их из объятий друг друга своей безжалостной рукой. Каныкей зашвырнула ко двору Чингиз-хана, в далекий от голодной Степи Каракорум, где ее ждал жертвенный камень и бесноватый Кокэчу, а Алпара — на хорезмийское судилище, на пытку у позорного столба на Пло-

щади Падших, где он висел в своих путах рядом с недавним командиром Салтан-беком, стиснув зубы и стически перенося удары свистящего над их спинами бича, затем — в долгие дни, превратившиеся в бесконечную непроглядную ночь, в сыром зиндане, рядом с полувыжившими из ума убийцами и ворами... Но неминуемая ночь сгущалась и над самим Великим Хорезмом... Часы истории били полночь...

Глава четвертая

Заклятие предков

Этому кургану была не одна тысяча лет. Легкоконная рать саков проносилась мимо сквозь туманные века, а курган уже стоял. Затем пришли и канули в Лету хунну, сяньби, синие тюрки, уйгуры, кидани, кыргызы — всех пожрал неумолимый Хронос.

Настало время монголов. Но что могли они знать, недавние еще выходцы из забайкальской тайги, сменившие лыжи на быстрого коня и незамысловатый охотничий быт на юрты и отары овец? История степи ограничивалась для них временем правления самых ближайших из своих предшественников. Потому-то все степные курганы, некогда не уступавшие в размерах египетским пирамидам, они называли просто — кыргыз ур. Киргизская могила, стало быть. Лишь пара-другая мудрых шаманов ведала, кто лежит под многотысячелетней толщей земли и могильного праха. Но до поры до времени древнее знание не было востребованным. К чему? Века прошли в бесчисленных межплеменных распрах, в лютом лихолетье китайских карательных экспедиций, после которых в каждом доме на Хуанхэ появились татарские и монгольские рабы. Племенам, забывшим о величии предков, приходилось туго. Но вот явился, наконец, Джихангир, Потрясатель Вселенной, — долгожданное имя его выкрикнули на курультэе. Темучин? Нет, какой там! Чингиз-хан или, правильнее, Тенгиз — по имени великого внутреннего моря, из-за которого, как гласили предания стариков, пришли таин-

ственные первопредки — золотая лань Гоа-Марал и серый волк Борте-Чино. Ведь совсем не случайно в народе этот курган называли Двойной Могилой. Значит, не все еще забылось, не все стерлось из памяти, дремлющей под гортанные напевы пастухов степи... Говаривали и другое: что, дескать, когда-то на вершине Двойной Могилы стояли две каменные статуи, настолько древние, что даже высеченные изображения почти стерлись под многотысячелетними дождями и снежными буранами. Но шаманы знали, что изображали эти древние изваяния мужчину и женщину. Затем изваяния рухнули, рассыпались в прах, а новые на их место никто так и не удосужился поставить. Не до того было. Теперь все изменилось.

И зазвенели резцы в руках искусных уйгурских мастеров, помнивших еще древние тюркские каноны ваяния, и в одной из мастерских Каракорума скульптуры возродились к новой жизни. Пускай, конечно, не те самые, что с того? Такова была воля Небесного Хана.

Теперь изображения Гоа-Марал и Борте-Чино заняли свои законные места, и заревели трубы, тревожно забили барабаны из кожи тибетских яков и к небу над голубой рекой Керулен взметнулось девятиножное Чингизово знамя.

Сам Джихангир, оставив на время ратные труды, явился сюда, к месту последнего упокоения своих далеких предков, разбил свой белый шатер у подножия их могилы. Вокруг него, на почтительном расстоянии, как грибы после весеннего дождя в Алтунской Черни, рассыпались юрты победнее и поплоче. Степь покрылась желтыми глазами костров, запестрела пасущимися овцами, лошадьми, верблюдами...

Сноровистые рабы вкатили жертвенный, выбеленный временем и стихиями, камень на самую вершину кургана, установили его между статуями первых владык Великой Степи. Все было готово к ритуалу, свершения которого Чингиз-хан ждал уже несколько лет.

Огромная толпа собралась у подножия Двойной Могилы. Здесь мелькали одежды более десятка племен и народностей. Стояли, сжимая древки

копий и рукояти сабель джалаиры, найманы, кераиты, сальюты... Эти были в первых рядах — главная опора империи, прирожденные монголы. Дальше начиналась уже такая неразбериха и сумятица, что только опытному путешественнику было под силу распознать многоголикое ханское воинство. Некогда гордые, а теперь покоренные чжурчжени, тангуты, остатки великого народа татар, урянхайсаха... Лесные племена с волосами, заплетенными в узкие косицы, в грубой меховой одежде, с диковинной тагуировкой на лбах; восточная ветвь народа Елан, потомки кимаков — племя Кай, лесные кыргызы — хакасы. Эти были почему-то особенно взволнованны. Знали уже, кто взойдет на жертвенный камень, и трепетали узнать дальнейшую судьбу дочери своего погибшего кагана...

Но вот толпа всколыхнулась, подала вперед, зажужжала как растревоженный улей. Полог белого шатра зашевелился и под дружный рев труб из берцовых костей верблюдов и яков к собранию вышел сам Темучин.

Легкий полынный ветерок шевелил пего-рыжие редкие волосы на его непокрытом, мощном черепе, солнце, бившее в широкое, дубленое и усеянное старыми шрамами лицо, заставляло щурить желто-зеленые, как у амурского тигра, глаза. Джихангир задумчиво, не обращая внимания на приветственные возгласы, несущиеся из толпы, дернул себя за свешивающийся на грудь седей ус, оглянулся на свою свиту. Здесь стояли его верные псы — Чжельме, Вурундай, сам Субутай-багатур со свирепым взглядом прирожденного урянхайца. Впрочем, свое немонгольское происхождение Субутай с лихвой возмещал почти нечеловеческой преданностью Чингизу и неумолимой жестокостью к его врагам. Здесь же были и уже немолодые, осевшие в летах сыны Джихангира. Джучи, этот, хоть и первенец, держится поодаль, памятуя зыбкую историю своего рождения, треплет немного дрожащей рукой малолетку Бату, будто понимая, у кого надо искать опоры, дед-Чингиз свою нелюбовь к старшему сыну покрывал с лихвой искренней привязанностью к маленькому внуку. Здесь же — Угэдей, Чагатай, Менгу,

их дети — Бури, Байдар, Бучук... Всем им лишь предстояло войти в историю кровавых монгольских походов. Особняком держался одетый в шелковый китайский халат сухонький старикашка с реденькой бороденкой и пронзительным взглядом раскосых прищуренных глаз: Елюй-Чуцай, вывезенный из покоренного Китая потомок царского киданьского рода Елюев. Двести с лишним лет назад его предок Елюй Даши, не слезая с коня, покорила почти весь Китай и многие окрестные народы. Его потомок коню и сабле предпочел шелковый халат и изречения Конфуция. За что, собственно, и вошел в доверие к Чингизу, которого еще с молодости отличала особая страсть к мудрости былых времен. Но сегодня Чуцай держался в тени, — мудрость старого китайца затмил дух бесноватого Кокэчу. Да, сегодня был его час.

А вот и он, — вышел откуда-то из-за юрты. Изможденное бледное редкоусое лицо, седые не по годам волосы, дрожащие руки, блуждающие глаза, свидетельствующие о неумеренном вдыхании дыма сжигаемой конопля... Кокэчу для пущей торжественности был облачен в черную тибетскую рясу, будто для напоминания присутствующим, что некогда сей человек был послушником тайного ордена Бон-По...

— А! — в глазах Чингиз-хана вспыхнула неприкрытая радость. — Наконец-то и ты! Как самочувствие моей сестры?

— О Великий каган! — Кокэчу, не доходя до владыки десяти шагов, преклонил колена, опустил голову. — Сестра твоя Каныкей в добром здравии и готова к обряду.

— Ну, я думаю, ты позаботился о ее спокойствии, — хмыкнул Темучин. — Дал ей понюхать своей любимой конопля, не так ли? Смотри, не переусердствуй! Ни один волос не должен упасть с головы правнучки Гоа-Марал...

Кокэчу промолчал, в его глазах блеснула неуверенность. Он, казалось, хотел что-то сказать хану, но передумал.

— Чего же мы ждем? — нетерпеливо протянул Джихангир. — Не пора ли начинать? Народ ждет начала торжества!

— Погодим, о мой хан! — пробормотал Кокэчу. — Дождемся наступления темноты!

Едва вечерняя заря окрасила небосклон, как изрядно заждавшийся Темучин дал наконец сигнал к началу действия, взмахнув белым платком. Кокэчу встал, глубоко вдыхая в широкие ноздри горький степной воздух, и принялся неторопливо взбираться вверх. За ним потянулась вся процессия — сам Чингиз, тяжело переводящий дыхание, но не показывающий и виду, как тяжело ему взбираться наверх, Субутай, Джучи, Угэдей, другие сыновья, военачальники, внуки... Люди по обе стороны холма подались вперед, напряженно всматриваясь во тьму, озаряемую зыбким светом сотен факелов.

Но вот, едва нога Кокэчу вступила на вершину кургана, вспыхнул, взметая к черному небу языки пламени, огромный костер у жертвенного камня. Процессия сгрудилась у алтаря, затаив дыхание, наблюдая за действиями верховного шамана. А тот хлопнул в ладоши, — и из-за статуи Гоа-Марал слуги вывели под руки Каныкей. Кыргызская царевна действительно была спокойна, лишь бледное лицо и блуждающие, подернутые пеленой изумрудные глаза указывали на то, что она находится под действием сильного наркотика.

— Подойди ко мне, Гоа-Марал! — воззвал к ней Кокэчу. Принцесса, медленно ступая по выгоревшей на солнце траве, которой поросла верхушка кургана, покорно приблизилась и вложила безвольную кисть в ледяную ладонь шамана.

— Подойди ко мне ты, Бортэ-Чино! — продолжил ритуал Кокэчу. Теперь к нему направился Чингиз. Кокэчу, не говоря более ни слова, свел руки Джихангира и Каныкей воедино, скрестил их над костром. В руке его блеснул нож с кремневым наконечником, применявшийся только при колдовских ритуалах. Гортанно завывая, шаман занес его высоко вверх, взмахнул раз, другой... Из нанесенных порезов на руках Чингиза и Каныкей заструилась пущенная кровь, потекла, смешиваясь, прямо в огонь. Кос-

тер затрещал, дрова, в которые был добавлен сильнодействующий настой дурман-травы, стрельнули искрами в разные стороны, пуская к небу зеленоватый дым. Свита Темучина непроизвольно отшатнулась.

— К вам взываю, духи предков! — пел шаман, яростно вращая глазами. — Выходите из тьмы, встретьтесь со своими возлюбленными детьми. Они оба здесь!

— А-а-а! — неожиданно взвыл он. — Вот они, я вижу, вижу их! — безумец возбужденно подскакивал на месте, указывая в огонь, над которым змеились принимающие странные очертания струи зеленого дыма.

И действительно — дым принимал антропоморфные очертания. Люди, охваченные мистическим трепетом, затаили дух, а над костром, кидая призрачные тени на алтарь, заметались дымные призраки. Их черты все более прояснялись, и, наконец, люди увидели выходящих из костра духов.

— Зачем вы пробудили нас? — глухо произнес призрачный мужчина, — в свете костра явственно были различимы его седые, взлохмаченные волосы, серебристые бляшки ди-



ковинной кольчуги настолько тонкой и изящной работы, что становилось непонятно, какие мастера в подлунном мире могли сделать такую красоту?

— Мы долго спали... — вторил ему высокий женский голос.

Да, вторым призраком действительно была женщина — рыжая, как сам огонь, с влажно мерцающими изумрудными, как и у Каныкей, глазами, в коротком плаще-накидке и с алмазным венцом в пламенеющих волосах.

— Кто осмелился нарушить покой Карелы Рыжего Ястреба? — тоном, не предвещающим ничего хорошего, продолжила женщина-дух.

— Опять колдовство, ты разве не видишь? — прошелестел ее седой спутник.

— Даже теперь... через двенадцать тысяч лет...

Люди на вершине кургана потрясенно вздохнули — никто из них и не догадывался, в какую пасть времени они только что заглянули.

— Это я вызвал вас, — к духам смело шагнул Кокэчу, продолжая сжимать на всякий случай кремневый нож в руках, видимо, позабыв, что против теней из потустороннего мира он бесполезен.

— По какому праву? — ощерилась женщина-дух.

— По праву власти! — в разговор вступил Чингиз-хан. Он вышел вперед и, преклонив колена перед тенями, протянул к ним слегка подрагивающие руки. — Я — ваш далекий потомок, и я же — новый владыка Степи! Я в своем праве! Вокруг, на тысячи стрелищ, моя земля, мои люди. И я владею всем этим по священному праву крови.

— Да, я узнаю в тебе свою кровь, — прищурилась рыжая. — И вот в этой девке — тоже. Только по ней не скажешь, что она довольна свиданием с предками. Ее привели сюда против воли!

— Здесь есть только моя воля, о предки! — спокойно отвечал Чингиз. — Воля Небесного хана.

— Не лги! — ощерилась женщина. — Ты — не Небесный хан! За твоей спиной — пустота...

Чингиз непроизвольно оглянулся, и ему действительно почудилось,

что его засасывает в черную непроглядную пустоту.

— Не пугай меня, о Гоа-Марал! — пробормотал Джихангир. — Я не для этого зывал к тебе. Объясни, о чем ты?

— Зачем? — ухмыльнулась Карела. — Себе ты уже все равно не поможешь! Спрашивай же, что хотел — и оставь нас в покое. Мы хотим спать...

— Лишь об одном я хотел просить вас, о предки! — понизил голос Чингиз. — Здесь, в присутствии всего нашего рода и его верных рабов, я обращаюсь к вам, Борте-Чино и Гоа-Марал! Дайте мне то, о чем я так долго мечтаю! Власть! — выкрикнул он.

— Власть? — в один голос повторили духи.

— Да! — голос Чингиза дрогнул, его глаза горели диким огнем. Он, казалось, забыл о грузе лет. — Дайте мне власть над подлунным миром, заклинаю вас!

— А ты малый не промах, Темучин! — раздался скрипучий голос призрака-мужчины. — Ты напоминаешь мне самого себя в молодые годы... Когда-то и я мечтал о власти. И эта мечта погубила меня. Я умер на троне, Темучин, да будет тебе известно, а моя власть была столь великой, что вам, людям упадка, и не снилось. Но даже я не смог достигнуть абсолютной власти. Твоя мечта бесплодна. Смирись с этим!

— Более того, — вмешалась Карела. — Ради твоего же блага, а также для блага всех живых и для спокойствия всех мертвых нашего мира я накладываю на тебя заклятие, Темучин! Кости мои стали золой, но слово мое нетленно! Едва ты добьешься власти над половиной мира, как тут же умрешь! Отступись, дерзновенный! Это говорю тебе я, Карела Рыжий Ястреб, та, которую гирканцы называли Гоа-Марал!

— Половина мира! — взвыл обезумевший Чингиз-хан. — Но мне нужно все!

— Запомни, щенок, — а для нас ты и верно щенок, — прошипела Карела. — Все — это тоже самое, что и ничего. Умерь свой пыл, ибо огонь твоего сердца бесплоден. Он не принесет людям ничего хорошего. Только смерть и пустоту! Так и знай!

— И еще, Чингиз! — в разговор вновь вступил Борте-Чино. — Запом-

ни, твоя империя не переживет твоих внуков! Она рассыплется в прах!

— И сами же внуки твои разрушат то здание, которое ты создавал! — усмехнулась Карела. — Так тому и быть! Созданное на крови, в крови и захлебнется!

— Слово наше крепко и нетленно! — повторили оба, медленно растворяясь в пламени догорающего костра...

Наступившую тягостную тишину наконец прервал яростный вопль Джихангира. Он, упав наземь, царапал вершину холма ногтями, из-под которых засочилась кровь, но он, казалось, не замечал этого. Глухие проклятья срывались с его языка. Наконец, Субутай и Чжельме подняли согнувшегося под тяжестью увиденного и услышанного хана, поднесли тустак с кумысом к его трясущимся серым губам.

Наконец Джихангир перевел дух. В его глазах вновь вспыхнул прежний злоекий огонек, плечи расправились.

— Эй вы, псы! — хрипло выкрикнул он. — Забудьте все, что слышали здесь! Я не верю ни одному их слову! Что толку в давно уже сдохших суке и кобеле? Половина мира, ха! Слышали? Ничего! Поживем — увидим!

Чингиз обернулся к смертельно бледному Кокэчу, и страшен был его взор.

— Ну что, шарлатан? — рявкнул Чингиз. — Помогли тебе твои призраки?

— Я знал, что все будет именно так, о хан мой! — наконец вымолвил шаман. — Но ты не желал меня слушать. Так выслушай хотя бы сейчас. У тебя остался последний шанс. Ты должен воззвать прямо ко Тьме... Тьма сильнее духов, ибо правит ими вот уже многие тысячи лет. Мы должны снять заклятье, наложенное предками!

— И что ты предлагаешь? — выдохнул Чингиз.

— Тьме нужна кровь, — осклабился Кокэчу. И пока Чингиз удивленно смотрел на него, послушные воле шамана рабы уже завалили по-прежнему неподвижную Канькей на алтарь, прижали ее руки и ноги к холодному камню.

— Нет! — прохрипел Чингиз-хан. — Ты не сделаешь этого! В ней моя кровь!

— Именно она и нужна Тьме! — истошно завопил Кокэчу, замахиваясь ножом.

— Стой! — выкрикнул Чингиз, но шаман уже опускал свой роковой нож на незащитное горло Канькей.

... Но стрела, свистнувшая в темном воздухе, оказалась быстрее. Кокэчу зашатался, склонил носом вперед, еще пытаясь совершить задуманное, но промахнулся, царапнул кремнем по камню, раскалывая его, и, захрипев, покатился по обгоревшей траве. Из спины его торчала раскачивающаяся стрела.

Из полумрака выступил Кучук. На его губах блуждала свирепая ухмылка. Не говоря более ни слова, он подскочил к безмолвствующему Чингизхану, встал перед ним на колени и вложил ему в руки свой кинжал.

— Твоя воля, о Джихангир! — хрипло произнес он. — Ты сильнее меня. Хочешь, убей или ...

— Встань, воин! — довольная улыбка заиграла на Чингизовых губах. — Ты сделал правильно! Этот выживший из ума негодяй давно уже опротивел мне. И вообще, сдается мне, что сегодня мы не видели никаких духов. Это был только морок, который наслал на нас этот тибетский выкормыш! Скажи мне свое имя, отважный! — благосклонно спросил владыка.

— Кучук, о Великий хан! Тысячник Кучук, из тумена Субутая. Это я принес к девятиножному знамени голубу Турумтая.

— Ах да, я вспомнил тебя! — Чингиз довольно расхохотался. — Ты делаешь успехи, малыш! С этого дня ты не просто тысячник, ты — десятитысячник! Жалую тебя серебряной пайцзой с головой кабана! А этого пса, — он кивнул на коченеющий труп Кокэчу, — швырните в костер. Пусть его духи насытятся им!

И с того дня все пошло как нельзя более удачно. Удача сопутствовала Джихангиру во всех его делах. Страны и города падали ниц перед его войсками. Недрогнувшей рукой Чингиз отправил многотысячную армию на юг. Первым пал великий торговый город Отрар, стоящий на перепутье дорог, ведущих к Хорезму и далее — к

Афганистану, Индии... Дорога на Хорезм была открыта.

Лишь одно смущало Джихангира — странные сны с недавних пор начали сниться ему. В этих снах-видениях к нему стал приходить странный человек. Человек с головой змеи.

— Тьма довольна тобой, Чингиз! — нашептывал он хану. — Что с того, что ты не убил Каныкей? Зато ты отдал нам Кокэчу. А еще ты отдашь нам своего старшего сына...

— А что я получу взамен? — спрашивал Чингиз.

— Ты получишь все, о чем мечтал, — сладко улыбался змееголовый монстр.

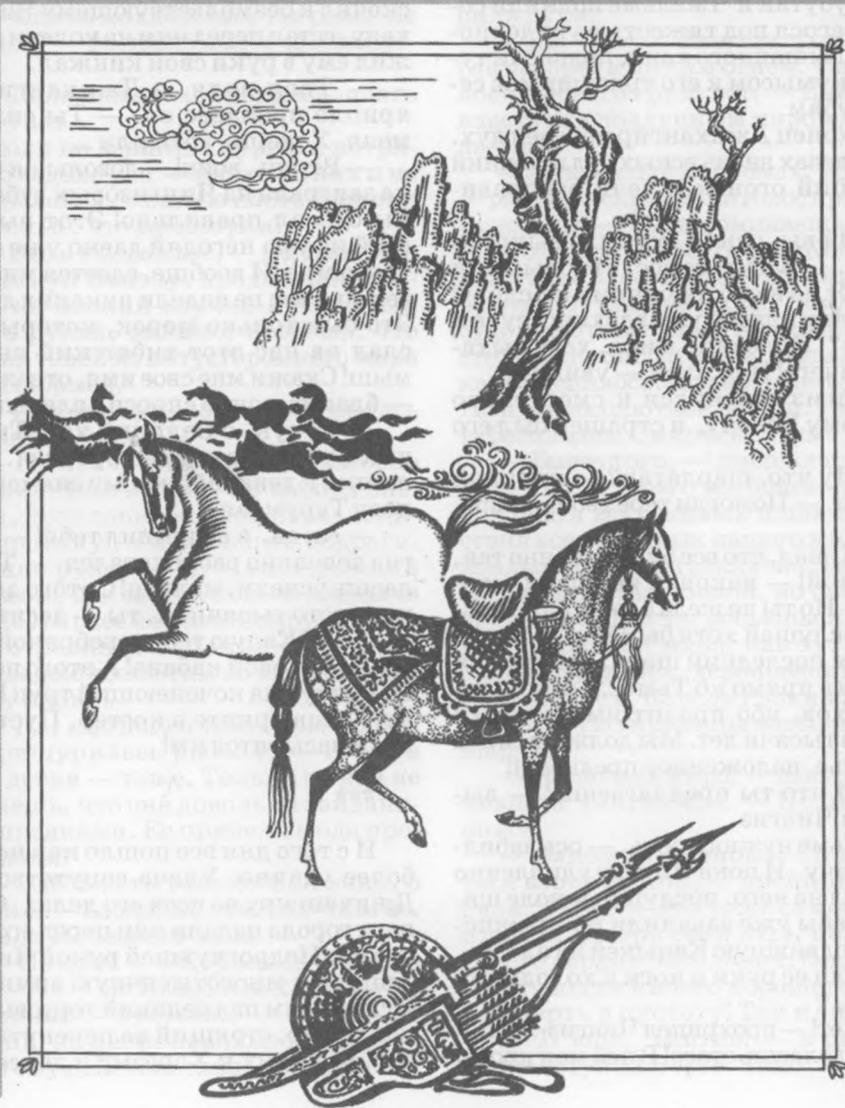
— А не слишком ли дорого? — торговался Чингиз.

— Да нет. В самый раз! — не унимался посланец Тьмы.

— Хорошо, — говорил Чингиз. — Я подумаю...

После этого хан просыпался с головной болью. Толкователи сновидений никак не могли объяснить, кто же является ему? Но мысль о Джучи с тех пор не выходила у хана из головы. Уж слишком велик был соблазн...

(Продолжение следует)





МЕЧ УРАЛА

Часть вторая

1223 ГОД

Глава первая

Дороги, которые нас выбирают

Караван растянулся по всей степи, покуда хватало взгляда. Шли, плавно покачивая мохнатыми горбами, навьюченные верблюды, тянулись груженные доверху подводы, в которые были запряжены неспешные, ленивые волю, то и дело подбадриваемые пронзительными воплями и ударами бичей возниц, ехали, подпрыгивая на ухабах, жилые брички — кибитки на высоких колесах, из которых к высокому небу Дешт-и-Кипчака поднимались курящиеся дымки.

Владыка могущественного кипчакского рода Тук-Саба выступил в далекий восточный поход так, будто собирался навсегда покинуть места родных кочевий. С ним ехали много-

численные слуги, холопы гнали стада разномастных жеребцов, гурты тучных овец, в кибитках ехали луноликие девы из его многочисленного гарема. Легконогая конница из преданных Муйтану войск стерегла путь каравана, лежавший по землям чужих родов, не всегда дружелюбных и не всегда согласных с тем, что по их территории пролегает караванный путь.

— Безумцы, — думал Муйтан, покачиваясь в своей кибитке, более напоминающей ханский шатер, поставленный на колеса, — не внял моим призывам к объединению, грызутся, как встарь... Правая рука их не ведает того, что творит левая. Считают, что так будет всегда. Но не все так просто в этом подлунном мире, все течет, все изменяется...

Окончание. Начало в №7, 2001.

Муйтан знал наверняка — пройдет еще год, другой, и все песьи свары, раздиравшие Степь, ослаблявшие ее, улягутся навсегда. Потому что там, на далеком и таинственном Востоке, куда держал путь его караван, вставала новая заря, заря кровавая, но от того не менее величественная.

Да, умен и хитер был старый Муйтан, знал, откуда ветер дует — да все оттуда же, из-за далекого Тарбагатая, из-за унылых песчаных пространств Гоби. И ветер этот нес с собой гарь сожженных городов и кочевий, волнующий ноздри коней запах свежeproлитой крови... ветер приносил с собой отдаленный вой волков и клекот стервятников — на Востоке, где вот уже не один десяток лет шла затяжная и сокрушительная война, падальщикам было чем поживиться. И пусть другие кипчакские бии, которым спесь и призрачное величие окончательно испортили обоняние, продолжали пребывать в беспечности, старый Муйтан держал нос по ветру. И не без оснований считал он, что необходимо предвосхитить неизбежные события, и потому спешил туда, в далекий Каракорум — поклониться первому, изъявить покорность и выразить свое восхищение Потрясателю Вселенной. Сделать все это, не дожидаясь, пока на рубежах его кочевий появятся первые вестники войны.

И действительно, далее тянуть было некуда. Уже пал Отрар, уже горели города Хорезма, склонялся один за другим перед копытами монгольских коней. Уже кичливый Мухаммед уподобился совсем не Искандеру, а скорее Дарию — жалкий, лишившийся своих прославленных войск, которые курень за куренем переходили на сторону Чингиза, вынужден был он бежать в сторону Хазарского моря, чтобы найти там неизбежную и бесславную смерть на заброшенном острове, среди полубезумных прокаженных... Только один гордый Джелал-ад-Дин не сдался неизбежному року — собрав последние верные ему войска, ушел на юг и там стоял насмерть, не пуская монгольского тигра в благословенные иранские земли. Но удача, в конце концов, отвернулась и от него — верные лазутчики, славшие ему вести с далекого Юга, свидетель-

ствовали — в тыл последнему наследнику империи хорезмшахов ударили гурджи, и тем самым подрубили свой собственный сук, прорвав оборону ослабленных войск Джелал-ад-Дина, тумены свирепого Субутая вырвались к Кавказу и оплатили неразумным горцам сторицей, превратив их тучные виноградники и жнивы в дымящиеся пепелища. Петля, таким образом, сжималась вокруг тучной шеи Дешт-и-Кипчака с двух сторон — монголы подступали с глубокого юго-западного тыла, еще немного, и они вырвутся в древние хазарские степи, к раздольным пастбищам сыновей Кансака — и тогда... Тогда придет конец вековой кипчакской вольнице, останется от нее только горький ветер пепелищ и горы окровавленных трупов. Спасения не приходилось ждать ни откуда — князья урусов, которые могли хоть как-то сдерживать натиск немолимого врага, вели себя ничуть не лучше гурджиев и других народов — грызлись и со своими степными соседями, и между собой. Потому-то так спешил Муйтан, торопился успеть выразить покорность подымающему голову новому мировому порядку...

В дар великому монгольскому хану Муйтан-бий вез щедрые дары — лучших коней, самых тучных овец, красивейших девушек, шелка, драгоценности, золотые кубки. Но главным, это прекрасно знал хитрый кипчак, были, конечно же, не дары. Что Чингизу дары, когда он почти каждый день с боем брал то, что ему нравилось, и в гораздо больших количествах? Нет, дело было, конечно же, не в дарах. Дело было в тонком политическом расчете — Муйтан наверняка знал, что грозный владыка не устоит, дрогнет его безжалостное сердце при виде склоненных колен и покорной выи. Ведь Муйтан, а с этим трудно было не считаться, преподносил на золоченом блюде саму кипчакскую степь, гарантию прочного и надежного тыла...

* * *

... Туркменский скакун возбужденно зафыркал, — учуял воду и, мучимый жаждой после долгого перехода по знойной степи, рванулся вперед



сквозь прибрежные заросли, непроходимой стеной окаймлявшие южный берег Терека. Наконец, впереди блеснули серебристые волны, и конь, всхрапнув, погрузил морду в вожденную влагу.

Его хозяин — невысокий, но крепкий и мускулистый, загорелый до черноты парень, спешил и, потрепав скакуна по холке, стал терпеливо ждать, пока его единственный спутник и товарищ в путешествии по этой бесприютной, дикой местности утолит свою жажду. Костюм степного скитальца был более чем символическим — на нем красовались драные лохмотья, некогда бывшие нарядной и дорогой одеждой иранского покроя, а черные, давно не стриженные волосы украшала потемневшая от копоти, но явно дорогой выделки бархатная бухарская тубетейка.

Темно-карие глаза напряженно всматривались в чернеющие заросли — жизнь, полная опасностей и ежедневной борьбы со смертью, которую черноволосый странник был вынужден вести едва ли не с самого рождения, закалила его не хуже дамасского клинка, который он сжимал в загорелых руках. Он чувствовал приближение опасности каждой клеточкой жилистого, мускулистого тела... Вот и сейчас в груди его зрела какая-то подспудная тревога. Однако ни еди-

ного звука не доносилось до его звериного слуха из тростников. Юноша еще раз раздул ноздри и, тряхнув головой, послал обратно в замшевые ножны клинок своего великолепного изогнутого меча, который был столь велик, что мог поместиться лишь за его широченной спиной. Но увы, это был совсем не тот меч, что был ему нужен...

Три с лишним года прошло с тех пор, как жестокая судьба вновь разлучила его с возлюбленной и безжалостно кинула в шахский зиндан. Под лохмотьями разодранной в боях одежды до сих пор угадывались застарелые шрамы и рубцы — следы жгучих поцелуев хорезмийских кнутов, которыми ему довелось насытиться сполна.

Все изменилось неожиданно, когда Алпар уже потерял счет времени и глаза его настолько привыкли к тьме, царившей в зиндане, что он мог видеть в ней не хуже крыс. Сначала их перестали кормить даже теми скудными и вонючими отбросами, которые им просовывали сквозь прутья решетки над их головами на острие пики ленивые, зажившие стражники. Затем до них стали доноситься тревожные голоса переругивающихся охранников. Из обрывков их речи можно было понять, что в городе, там, наверху, происходит что-то из ряда вон выходящее. Алпар уловил только одно слово — осада... Значит монголы уже пришли. Оставалось лишь терпеливо ждать, уповая на очередной каприз судьбы. И судьба улыбнулась.

Со временем исчезли и охранники. Долгие часы потянулись, смутно освещаемые заревом далеких пожаров, горевших наверху. До узников доносились вопли убиваемых горожан, ледящий душу посвист стрел и резкие гортанные выкрики захвативших город монгольских воинов. Бухара пала — это было очевидно. Но о пленниках зиндана забыли напрочь, — охрана бежала, бросив свой пост, государство рухнуло, многочисленные падишахские псы утекали на юг, бросив свой народ, свои награбленные богатства, позабыв о своей власти, рухнувшей как песочный замок в одно мгновение. И никому уже не было никакого дела до тех, кто и без того был обречен на смерть. А в результате оказалось, что

именно они-то, забытые, отверженные полумертвецы, оказались единственными, кто спасся в сожравшем сияющую Бухару смерче войны.

Наконец, по прошествии многих дней, все стихло. Лишь карканье ворон нарушало кладбищенскую тишину, воцарившуюся над зинданом. Снаружи не доходило никаких признаков другой жизни. И тогда оголодавшие узники решились.

Помогая друг другу, становясь на плечи, вгрызаясь в вязкую глину, пленники добрались таки до решетки, что преграждала им путь к долгожданной свободе. И достаточное было нескольких ударов, чтобы переломать ее ржавые прутья. Как все было, оказывается, просто — их темница, как и то государство, что засадило их сюда, оказалась шаткой и гнилой. Достаточное было только подуть злому восточному ветру, чтобы все растаяло как призрачный кошмарный сон. Но на смену старой деспотической и прогнившей, провонявшей насквозь власти шел стальной поступью новый мировой порядок...

Дождавшись наступления темноты, узники, вздрагивая при каждом шорохе, наконец-то выбрались наружу. О Великий Аллах, что же предстало их отвыкшим от вольного света глазам!

Ненавистой, подарившей им рабство и страдания Бухары больше не было. В руинах лежали ее прекрасные мечети и дворцы, в груди пепла превратились хижины дехкан, а прежде оживленных майданах гнили, распространяя вокруг тяжелый запах мертвечины, горы трупов. Здесь были, по преимуществу, старики, женщины, дети... Изнасилованные, с обрубленными ушами, вырезанными языками, выколотыми глазами... Стаи одичавших собак и примкнувших к ним, выбравшихся из своих пустынных нор, шакалов грызлись у наваленных в беспорядке тел, и помешать им могли теперь лишь налетающие призрачными смертоносными тенями стервятники. Только они теперь правили на развалинах сияющей некогда жемчужины Востока.

Монголы взяли город приступом, войска хорезмшаха отступили на юг, бросив на произвол судьбы мирных

жителей. Три дня безумствовали на улицах Бухары обезумевшие от крови степняки. На четвертый день из землянок и погребов выползли старейшины махаллей — городских кварталов, и поползли на коленях к захватчикам, умоляя не трогать оставшихся в живых, упрашивая забрать их в рабство. Они были готовы на все, чтобы прекратить это безумие. Монголы согласились.

Когда прошел еще один день, в наступившей тишине прозвучали резкие слова команды, которую отдавали новые господа. Монголы приказали всем оставшимся в живых жителям Бухары до наступления темноты покинуть город и собраться у городских ворот.

Всю ночь горели костры и юркие нукеры сновали между коленопреклоненными жителями, отбирая из них наиболее крепких мужчин и красивейших женщин. Когда отбор был кончен, на прочих обрушился смертоносный ливень стрел. Так Бухара лишилась всех своих жителей.

Обо всем этом освободившимся узникам поведал полубезумный, одичавший старик-нищий, который спасся лишь тем, что все эти дни лежал, зарывшись в кучи отбросов.

— Уходите, парни, — посоветовал он им. — Бухары больше нет. Я и сам бы охотно покинул это мертвое место, но меня не несут больные ноги. Видно, и мне суждено умереть здесь...

— Куда же нам идти? — недоумевали потерянные узники.

— На все четыре стороны! — хохотал полубезумец. — Свобода! Полная свобода! Нет больше Хорезма, нет больше падишаха, нет армии, нет никаких законов! Только не попадитесь монголам — их патрули до сих пор еще рыщут в окрестностях Бухары, добирая последнее, что еще тут осталось. Бегите же отсюда быстрее! Брать здесь нечего — монголы все выгребли подчистую.

Безумный нищий был прав. До самого утра обретшая свободу ватага бродила по мертвому городу, но так почти ничем и не поживилась. Лишь у самых городских ворот им попался раздувшийся труп монгольского воина, которого, видимо, забыли похоронить свои. Люди поделили между со-

бой его амуницию и оружие и поспешили покинуть гиблое место.

Затем был долгий путь по пустыне. Шли по ночам, днем прячась в развалинах мазаров и мавзолеев суфийских святых. Иногда, замерев, они слышали, как проезжают мимо, стуча неподкованными копытами и лениво, гортанно переговариваясь, монгольские патрули — сытые, пьяные от крови и блуда, навьюченные тюками награбленного добра, они вели в поводу отловленных последних из разбежавшихся по всей округе хорезмийских крестьян.

Не сговариваясь, ватага шла на юг, хотя и знали, что монгольская армия далеко опередила их, но в этом был единственный шанс на спасение. Можно было найти прибежище в горах Копетдага, куда конные завоеватели уж точно не сунулись бы. И небольшой отряд продолжал свой волчий путь...

Вскоре они вступили в пределы, где война была еще в разгаре. Местные жители, напуганные до полусмерти, выкарабкиваясь по ночам из своих землянок-убежищ, рассказывали, что целые города и деревни переходят из рук в руки по нескольку раз на дню — здесь монголы насмерть сцепились с неуемным Джелаль-ад-Дином.

Здесь и порешили расстаться. По одному, разделив по-братски скудную добычу, товарищи по несчастью разбежались кто куда. Действительно, схоронившись по деревням, было еще можно как-то выжить. Но Алпар не стал задерживаться нигде. Его путь лежал на юг, хотя сердце рвалось на далекий север. Но у него отныне оставался лишь один путь — к войску неукротимого Джелаль-ад-Дина, ибо только он теперь был символом борьбы с коварным и могучим врагом.

Алпару повезло и в этот раз. Утром, когда он, только что проснувшись в развалинах древнего мавзолея, собирался продолжить свой путь, его окружили молчаливые суровые воины в серебристых кольчугах и глухих стальных шлемах. О удача — это были не монголы!

— Кто такой, почему шляешься по пустыне, когда нам нужны каждые руки, способные держать меч?

— сурово окликнул Алпара их предводитель — гарцующий на белоснежном туркменском жеребце молодой красивый воин в покрытых богатыми инкрустациями стальных латах и высоком шлеме, украшенном пышным султаном из страусиных перьев.

— Да я бы и рад взять меч, но где его взять? — развел руками Алпар.

— А если я его тебе дам, что будешь делать? — предводитель окинул башкира пытливым взором.

— Ясное дело — монголов бить, — просто ответил Алпар.

— Все бы так понимали эту ясность, — пробормотал предводитель отряда уже гораздо более мягким тоном. — А то местные дехкане только и норовят схорониться по погребам... Оно и ясно — для них разницы нет, — мой отец драл с них три шкуры, и эти, новые господа, не лучше. Какое им дело до войны?

— Ты — Джелаль-ад-Дин, я угадал? — Алпар пожирал загоревшимися от радости глазами воина в латах.

— Точно, бродяга! — усмехнулся последний хорезмийский принц. — А ты кто таков?

— Я — башкир, с далекого Севера...

— Ха! Так ты, стало быть, и сам не лучше этих монголов! — расхохотался Джелаль-ад-Дин. — Ведь ты такой же, как и они, степной дикарь. Зачем же тебе их бить? Ты бы мог легко вступить в тумены этого демона Субутая...

— Монголы отняли у меня мою возлюбленную, отобрали дорогой моему сердцу меч, — ничуть не обидевшись на “дикаря”, отвечал Алпар.

— У меня одна дорога, о Джелаль-ад-Дин, — с тобой, до самого конца!

— Дайте ему меч и коня! — коротко распорядился принц и, развернув скакуна, ускакал, потеряв всякий интерес к Алпару.

С тех пор Алпар видел надменного принца только издали, но у него не было никакого желания общаться с сыном того человека, в гареме которого Каныкей томилась долгие три года. Все они одним миром мазаны, все эти падишахи, султаны, ханы, бии... Этот хотя бы дал возможность драться с врагом, и на том спасибо...

Еще три года пронеслись как прозрачный сон. Алпар будто бы и не

жил, — ища смерть, он кидался в самую пучину боевых схваток, безрас- судно, словно одержимый, заслу- жив в рядах своих соратников ре- путацию самого отчаянного бойца, которые для удобства так и называ- ли его, — Башкурд. Но смерть не шла, видимо, потому, что наступи- ла для него уже при жизни. Алпа- ром двигала единственная цель, он упорно искал в рядах монгольских воинов предателя Кучука, но, увы, так и не встретил его. Он и не мог знать, что возвысившегося нукера и в помине не было среди воинов Угедея и Субутая, — находился он при ханской ставке, в стане Джучи, к которому был приставлен в каче- стве соглядатая...

Как во сне звучали названия отда- ваемых врагу или отбиваемых с боем городов — Хорасан, Мерв, Герат... Война шла с переменным успехом: то монголы теснили Джелаль-ад-Дина, то наоборот. И не было никакой наде- жды вырваться из этого замкнуто- го круга.

Но однажды случилось неизбеж- ное. Ступив в предгорья Кавказа, над- менный Джелаль-ад-Дин послал гон- цов ко всем местным владыкам — к армянскому и киликийскому царям, к князьям гурджиев, к многочислен- ным сельджукским султанам, наслед- никам славы победителя крестонос- цев курда Саладина. Приказ принца был строг — припасть к его коленям, воздать должное наследнику трона Великого Хорезма, а именно — при- слать богатую дань и лучших воинов для пополнения рядов истрепанной в боях армии. Кое-кто согласился, ува- жил очередного Искандера, но в гур- джиях, и без того собачившихся в долинах у подножия своих замков, взыграла горячая кавказская кровь. И покатила с заснеженных гор ла- вина объединившихся воинов, ударив прямо в тыл отбивающемуся от Субу- тая Саладину.

Так был сломлен хребет един- ственной реальной на Переднем Вос- токе силы, которая еще могла проти- востоять бешеному натиску монголов. Совсем скоро одумались отчаянные гурджии и даже дали приют разроз- ненным отрядам Джелаль-ад-Дина, отступавшим под напором Субутая,

да поздно уже было... Монголы вор- вались в долины Закавказья.

Раненного в боях Алпара выходи- ли крестьяне в горной гурджийской деревушке. Заливав шрамы, Алпар пораскинул мозгами, — как же быть дальше? Славе Джелаль-ад-Дина пришел конец, Субутай бил его по всем фронтам, неумолимо тесня его все дальше и дальше на север. Пере- дняя Азия и Кавказ были обречены.

И потому, узнав у сведущих про- водников путь по обрывистым перевалам, Алпар ушел в сторону хазарских степей. Путь его лежал на родину, — надо было спешить, предупредить со- племенников о грозной, неумолимо надвигающейся беде...

Конь все пил и пил, отфыркиваясь и раздувая бока, а Алпар, кинув последний напряженный взгляд на окре- стные заросли, опустил на колени и, не обращая внимания на то, что ноги его тут же увязли в липком иле, зачерпнул в пригоршню воду и под- нес ее к губам. Отпив немного, баш- кир поморщился — да, это, конечно, не гурджийское вино! С некоторой за- вистью, покосившись на неприветли- вого конягу, продолжавшего невозму- тимо хлебать отдающую тинной воду, Алпар глубоко вздохнул. Изобильная жизнь наемника Джелаль-ад-Дина среди тюков награбленного добра и целого склада амфор, полных трофей- ного вина, избаловала его. Однако в следующий миг варварские инстинк- ты возобладали, и Алпар, припад гу- бами к водной глади, утолял свою жажду столь же резво и жизнерадос- тно, как и его жеребец. Наконец оба напились. Башкир бросил взгляд на пустую объемистую флягу, свешивав- шуюся с седла. Перебравшись на дру- гой берег, он первым делом наполнит ее доверху — до первых кипчакских кочевий путь не близкий, а кроме Те- река в окрестностях нет больше ни одного доступного источника воды.

Алпар взял коня за поводья и по- тянул его за собой, в реку. Очень ско- ро вязкое, илистое дно под ними рез- ко ушло вниз, и конь поплыл, рассе- кая мощной грудью стремительные воды. Алпар плыл рядом, держась за его вороную гриву. Течение было до- вольно сильным, но тем не менее мо- гучий жеребец без труда добрался до

середины реки, а башкир по мере сил помогал ему, загребая мускулистой левой рукой, словно галерным веслом. Впереди виднелся вожденный северный берег...

Глава вторая Память тигра

Чингиз-хан утер газовым трофейным хорезмийским платком лоснящиеся от бараньего сала губы, сыто рыгнул. Муйтан, сидевший напротив хана, просветлел лицом. Хоть и был он здесь только гостем, но угощал на этот раз именно он. Потому-то такую бешеную радость вызвал у него неблагозвучный утробный звук, вырвавшийся из могучей Чингизовой глотки. Это значило, что Великий хан доволен угощением и благоволит дарителю.

— Сядь сюда, поближе ко мне, добрый Муйтан, — хан лениво похлопал дрожащей рукой по мягкому войлоку рядом с собой.

— Смею ли я, о Потрясатель Вселенной! — смиренно бормоча, престарелый хитрец на карачках подполз к владыке и так и замер, не разгибая спины и умильно глядя на своего нового повелителя.

Нет! Совсем не легко доставалось старому хитрецу его униженное смирение! На протяжении всей его, не такой уж и малой, жизни кланялись ему, ему умильно заглядывали в глаза, ловили каждый вздох. Стоило ли жить, чтобы вот так, на склоне лет уподобляться рабу? Будь он молод, может, и вел бы себя как запальчивый бий Бушман или сыновья Кансака, те, что на его предложение ехать в ставку Чингиза вместе, ответили взрывами презрительного хохота. Они не захотели делить со старым бием его нынешний позор. Но в том-то и дело, что стар уже стал Муйтан для бесшабашных удалых дел, не хотел больше войны. Он желал одного — чтобы грозная напасть прошла лишь краешком, так и не задев его обширных владений, чтобы его голова и головы его сыновей не лежали бесформенной грудой у девятиножного Чингизова знамени, чтобы его дочери, жены и наложницы не стали подстилками в юртах монголь-

ских военачальников. И потому бий унижался перед Чингизом как мог. Потому что знал — это сработает. Потому что помнил кое-что из прошлого ныне великого хана, а когда-то гонимого, бесприютного выродка из обнищавшего ханского рода... И пусть Чингиз и виду не подал, что помнит, но Муйтан был уверен, что самый его приезд освежил память Потрясателя Вселенной не хуже самого забористого кумыса...

... И Чингиз действительно вспомнил. Глядя теперь на ползающего у его ног старика, он едва заметно улыбался, благосклонно кивая ему. Что ж, старик умен и прозорлив, как и тогда — много лет назад, когда сам Муйтан был еще молод и силен, а он — он, бедный Темучин, был бесприютным приблудышем, одиноко скитавшимся по степи.

* * *

Когда-то давным-давно, когда и слыхом еще никто не слыхивал даже имени такого — Чингиз-хан, бродил по степи голодный и бесприютный мальчишка — недавний тайджиутский раб, сидевший в колодке несколько лет...

Отец его — прославленный Есугай-багатур, внук великого некогда степного Хабул-хана, был уже мертв, и некому было заступиться за отпрыска обедневшего и пропадавшего в безвестности знатного рода, когда приехал в их кочевье нойон тайджиутов Таргутай Кирилтух со своими псами.

— Эй, ты, оборванец! — окликнул он одиннадцатилетнего сорванца, бегавшего между бедных черных юрт. — Ты чей сын будешь?

— Я сын Есугай-багатура, Темучин, — хмуро отозвался мальчонка.

— Ха! — расхохотался Таргутай. — Есугай давно уже умер! Тебе нужен отец!

— Мне не нужен другой отец! — взъерепенился мальчишка, обжигая надменного нойона лютым взглядом желтых тигриных глаз.

— Ах ты, щенок! — вспылил тайджиут. Ожог плети высек на щеке паренька вздувающийся на глазах кровавый рубец и мальчонка не сдержался, вскрикнул.

— Щенок и есть щенок! — скалили белые зубы тайджиут. — Даже боли не можешь вытерпеть! Да, не отец тебе нужен, а господин! Хозяин, как безродному псу!

Сильная рука нойона играючи поддела худенького мальчонку за шиворот и небрежно швырнула поперек седла.

— Нет! Не увозите его! — выбежав из юрты на призыв сына, истошно кричала мать Темучина Оэлун-окэ, постаревшая и утратившая былую красу за годы невзгод, выпавших ей на долю после смерти мужа. — Это мой единственный сын! Кто же будет кормить меня в старости!

— Сама ворон корми, старая меркитская шлюха! — сапог Таргутай отпихнул безутешно рыдающую вдову. Отряд хохочущих тайджиутов двинулся далее, увозя с собой последнюю надежду и опору матери. Долго и безутешно рыдала Оэлун, но затем успокоилась — видно, судьба уж такая у ее детей... И всему виной — краденое счастье, лежавшее в основе их брака с Есугаем. Ведь в свое время украл ее удалой нукер Есугай, человек длинной воли, у законного жениха-меркита и овладел ею против ее воли, не доезжая до родного кочевья, прямо в дикой степи. Стерпится — слюбится, так утешала себя Оэлун все эти годы. Пошли дети, вот только как назло — одни дочери. Затем, наконец, родились долгожданные Темучин и Бектер. Но злая судьба не унималась: братья, — кровь от крови, плоть от плоти, — поссорились насмерть на рыбалке, и буйный Темучин задушил своего родного брата. Вот тогда-то не сдержала Оэлун проклятий. На свою голову проклинала, — умер Есугай, обеднел род, и вот теперь первый встречный увозит ее единственного сына, ее опору в старости, которая и так уже не за горами. За все надо платить в этой жизни, за все. Но в чем ее то вина?

Приехав в свое кочевье, Таргутай Кирилтух швырнул сомлевающего от долгой дороги мальчонку наземь.

— Будешь сбивать кумыс! — бросил он ему. — На большее ты не годишься, ублюдок Есугай!

В ту же ночь Темучин бежал, но был пойман, нещадно бит и посажен

в колодки. Потянулись годы рабства. А Таргутай хвастал на пирах, надменно кивая сытым гостям:

— Не говорите мне о Есугае! Он давно уже падаль для волков, его жена — некогда красавица Оэлун высохла как горелая полынь и ходит по кочевью в грязном рубище, как какая-нибудь рабыня! Я не позарился на нее, уж больно костлява! Полюбуйтесь-ка на отпрыска хваленого Есугай-багатура — он сейчас нальет вам кумыс!

И под громогласный хохот захмелевших дружков он подтягивал за поводок, закрепленный на ошейнике Темучина, и, охаживая его пинками, заставлял уважить дорогих гостей... Так рос будущий владыка полумира, терпя пинки и унижения, глотая позор сполна...

Со временем Таргутай все более изощрялся в новых забавах, выдумывать которые он был весьма горазд. Однажды ему пришлось на ум сравить Темучина голодным псам на потеху гостям. С него сняли ошейник и выпустили в загон к люто лающим, исходящим пеной псам, вскормленным мясом убитых пленников. О! Как он тогда выжил? Он хрипел от переполнявшей его души ярости, наконец-то нашедшей хоть какой-то выход, он яростно, не уступая врагам в звериной жестокости, вгрызался им в горло, буквально рвал на части. Окровавленный, полумертвый, Темучин загнал последнего, поджавшего хвост и начинающего испуганно скулить пса в угол загона и, распрямившись, смерил своего побледневшего господина лютым прищуренным взором холодных тигриных глаз.

— Ты доволен, хозяин? — только и смог прохрипеть он.

— Есугаево семя... Вот теперь я узнаю тебя... — только и смог промямлить Таргутай, чувствуя, как невольно просыпаются в нем уважение и страх перед этим затравленным зверенышем.

С тех пор он уже никогда не держал Темучина в колодках, хотя ошейник с него снять побоялся. Ему уже не поручали сбивать кумыс или пасти коз на задворках кочевья. Его начали хорошо кормить, а по вечерам самый преданный из воинов Таргутай — ста-

рый одноглазый тайджиут Урумчин, принялся обучать молодого тигрениша искусству убивать.

Вскоре, на очередной сходке князей, Таргутай на спор выставил своего нового бойца — Темучина, которому дали кличку Тигр, против двух одурманенных коноплей татарских пленников. Темучин проявил свой тигриный нрав сполна — действуя одним только кинжалом, он хладнокровно расправился с обоими, а под конец методично отрезал им головы и швырнул их под ноги довольно усмехающемуся Таргутаю.

Таргутай начал богатеть — каждый новый бой приносил ему то отару овец, то горячего иноходца. Да, хороший ему достался раб, не каждому так везет... А ведь мальчонке всего пятнадцать лет...

Теперь он сажал Темучина напротив себя и удостаивал его неслыханной милости — наливал кумыс из своих рук.

— Ты еще благодарить меня будешь, сынок, — побряхтывал стареющий Кирилтух, трепал молчаливого пацана-убийцу по костлявому, жилистому плечу. Я ж тебе вместо отца теперь... В люди тебя, почитай что, вывел...

Однако ошейника и оков он с него так и не торопился снимать.

Но чему быть, того не миновать. В одну вьюжную степную ночь Таргутай неожиданно проснулся и, осушив полную чашу кумыса, крикнул и, взяв в руки топор, направился к заго-ну, в котором обычно ночевал Темучин.

— Вставай, тигрениш! — он поддел завернувшегося в тряпье парня ногой. — Вставай, пока я добрый!

Темучин в недоумении уставился на хозяина. Тот вроде не выглядел пьяным.

— Что, опять для меня нашлась работенка? — поинтересовался Темучин, привычно поигрывая налитыми мышцами. — Ведь еще слишком рано! Неужели опять гости требуют?

Не говоря ни слова, Таргутай потащил недоумевающего подростка к лежавшей неподалеку колоде и одним ударом топора обрубил цепи, удерживавшие его на кольце, впаянном в большой валун, лежавший у

очага. Так же молча он пихнул парня ногой.

— Что ты делаешь, хозяин? — Темучин решительно не мог понять своего господина. Слишком уж долго он сидел на цепи, чтобы осознать, что ему только что подарили свободу.

— Иди! Ты свободен! — рывкнул Таргутай. — Иди же, ублюдох, пока я не передумал! — прикрикнул он.

В третий раз повторять не пришлось. Темучин, не оборачиваясь, припустил к выходу из загона и нырнул в метельную ночь. А до неожиданно погрузневшего Таргутая снаружи донеслись последние слова его бывшего ручного тигра:

— Спасибо, Таргутай! Ты и вправду научил меня жизни!

— То-то же, — бормотал не на шутку расстрогавшийся свирепый степной волк, — я же говорил, ты еще вспомнишь меня добрым словом...

Так оно и вышло, уже через много лет, когда взбунтовавшиеся холопы пленили Таргутая и хотели его выдать на растерзание Темучину, взмолился старый тайджиут:

— Вспомни, как я воспитывал тебя, Темучин, как я наставлял тебя на истинный путь. Ведь кто как не я был твоим настоящим отцом? Да, признаю, я относился к тебе жестоко, но ведь это-то и закалило тебя! Кто как не я дал тебе волю к жизни? Стал бы ты тем, кем стал сейчас без меня? Нет, мой Темучин не погубит меня!

И Темучин действительно обошелся великодушно со своим былым истязателем. Он отпустил его на все четыре стороны — взматеревший тигр хорошо запомнил уроки своего свирепого воспитателя. И был ему за это лишь благодарен...

А пока он шел по бесприютной заснеженной степи, плутая, — один-одинешенек, без одежды и пищи, без оружия и цели в жизни. Один раз в пелене бившей в лицо пурги ему довелось схлестнуться со стайей оголодавших волков. Но тигр сильнее волка — из схватки Темучин вышел, наряженный в плащ из волчьих шкур и с губами, измазанными кровью. Напившись волчьей крови и получив долгожданную одежду, Темучин пустился далее в поисках родного кочевья, которого он не видел уже много лет подряд.

Таким-то его и встретила кавалькада лихих пришельцев с далекого Запада. Молодые кипчакские бии ехали на охоту в благословенные монгольские земли, славившиеся своими бесчисленными стадами сайгаков. По дороге они грабили разрозненные монгольские и татарские кочевья, угоняя скот и рабов. Предводителем кипчаков был молодой и отважный удалец Муйтан.

— Кто таков? Откуда? — спрашивал Муйтан, вздымая горячего скакуна прямо перед носом изможденного долгим странствием по степи подростка.

— Я — Темучин, сын Есугайбагатура! — просто отвечал парнишка. — Я был в тайджиутском плену. Теперь я получил свободу и держу путь в сторону родного кочевья.

— О-о-о, — неожиданно протянул Муйтан, спешиваясь с коня. — Так ты потомок прославленного Хабулхана? Слава его была так велика, что достигла даже западных пределов Дешт-и-Кипчака...

— На одной славе далеко не уедешь! — невесело отвечал юный Темучин. — У меня нет ни коня, ни оружия. Я брожу по степи вот уже много дней...

— Ты добудешь свою славу, о знатный юноша! — тоном, полным уважения к великому предку, заявил Муйтан. — Я вижу по твоим глазам — ты достойный преемник Хабулхана. Помяни мое слово, Темучин!

— Спасибо на добром слове, добрый человек! — усмехнулся Темучин. — Но мне бы хватило и того, чтобы вы помогли мне добраться до дома.

— Слово ханского наследника — закон для меня! — Муйтан, — тут все прочие бии раззявили рты, — неожиданно упал в снег и преклонил одно колено перед степным бродяжкой. Засвидетельствовав таким образом свое почтение знатному отпрыску, он неожиданно обернулся к своим спутникам.

— Чего уставились? А ну-ка впрягайте своих коней в мою арбу!

— Но за чем? — недоумевали бии.

— Наследник Хабулхана должен прибыть к родному очагу, как и положено человеку белой кости! — настаивательно произнес Муйтан.

Недовольно ворча, бии тем не менее подчинились. Скоро в скрипучую

арбу была впряжена целая восьмерка горячих кипчакских коней. Темучин был усажен на белую кошму, а сам Муйтан взялся за поводья.

— Приказывай, о Темучин! Куда тебя везти?

— Если я не ошибаюсь, наше становище уже совсем близко! — войдя в роль, надменно процедил Темучин. — До него остался один ночной переход.

— Мы отвезем тебя, не будь я Муйтан-бий! — заверил юнца предводитель рода Тук-саба.

Так и въехал будущий Чингиз-хан в родное кочевье — будто триумфатор, на повозке, запряженной восьмериком. Дальновидный Муйтан правил ею, а прочие бии, спешившись, шли следом...

* * *

— Я ничего не забыл, добрый мой Муйтан, — протянул Чингиз. — Пусть меня называют тигром — жестоким и алчущим крови. Но тигриная память — самая цепкая. И тигр тоже умеет помнить добро. Что ж, такова, видно, твоя судьба — и тогда, и теперь ты вызываешься на роль моего возницы в степи Дешт-и-Кипчак. Так тому и быть. Я смело вручаю тебе вожжи, — правь ими и попукай прочим бесплодных, которые не столь дальновидны, как ты!

— Великий хан, я не ошибся в тебе тогда! — прошептал Муйтан. На глазах его блестели непрошеные слезы.

— Поднимись с колен, Муйтан, и прими заслуженную тобой награду!

Щелчком подозвал к себе Чингиз верных слуг и те принесли на фарфоровом китайском блюде заранее подготовленный документ. Это был ярлык — первый из тех, которые даровал Чингиз-хан явившимся ему с покорностью.

— Жалую тебя, Муйтан-бий, всеми подвластными тебе землями, — торжественно заявил Чингиз-хан. А грамотей-уйгур у него за спиной меж тем медленно зачитывал текст ханского ярлыка:

“Имя Небесного Тенгри да будет свято! Муйтану, из рода Тук-Саба, сиим ярлыком дано право на владение. До конца жизни быть ему бием, бием будет один из его сыновей. Так,

из поколения в поколение, никому кроме внуков и правнуков Муйтана это право отдано не будет. Каждый из них будет владеть без избрания вечно всеми нижеперечисленными землями: с верховьев Агидели до устья со всеми малыми и большими притоками ее, с долинами и лесами по ним, восточные склоны Уральских гор, протекающие вблизи них река Ишим и ее притоки — Ирман, Иртыш, все реки, впадающие к ним, со всеми лесами и полями; еще верховья реки Яик с горами Ялпы, оба берега реки Яик. Земли по восточному берегу реки Яик до реки Тубыл и со всеми притоками реки Яик, с долинами, лесами и полями, со всеми богатствами в недрах земли, со всеми местами летовок и зимовок — вечно. Право это дается роду Муйтана, роду Тук-Саба”.

Муйтан не смог сдержать торжествующей улыбки. Чингиз-хан сполна отплатил ему за его унижение. Да, овчинка стоила выделки! Не только его родовые, исконные земли, но и земли башкир отдавал ему Чингиз-хан, ибо схитрил, старый лис, приукрасил свои владения, добавив в разговоре с ханом, что принадлежат ему и благословенные земли Урала...

— И это еще не все, Муйтан! — хан тоже улыбался, — приветливо, благосклонно.

— Назад ты поедешь не один. С тобой в Дешт-и-Кипчак поедет тумен воинов моего любимого первенца — Джучи. Они будут оберегать тебя на всем пути и помогут тебе установить новый порядок в принадлежащих нам землях, — хан сделал упор на слово “нам”. — Что ж, так тому и быть!

— Эй, отважный Кучук, подойди к нам! — позвал Чингиз. Из-за полога юрты тут же, будто только и ждал этих слов, вынырнул молодой, коренастый нукер. — Покажи-ка нашему дорогому гостю кое-что... — поощрил хан.

Сохраняя непроницаемое выражение на своем лице, Кучук потянул руку за спину и резким движением обнажил меч, висевший в его ножнах. Лезвие покрытого паутиной древних рун меча сверкнуло в полумраке юрты.

— Подвластные тебе башкиры, — хан опять сделал ударение на слове

“подвластные” (Муйтан понял, что хан все давно уже знает, и невольно сглотнул ком, застрявший в его горле), — говорят, что это — меч Урала, древнего богатыря. Они говорят также, что тому, кому принадлежит этот меч, достанутся и все его земли — по всем четырем рекам, имена которых происходят от его сыновей. Думаю, этот меч поможет тебе усмирить непокорных без особого труда. Дарую его тебе, Муйтан!

Кучук, преклонив перед ошеломленным бием одно колено, вручил ему заветный меч. Старый плут осторожно принял его, зачарованно глядя на невероятно древнюю сталь клинка.

— Да... Это действительно тот самый меч... — наконец выдал он из себя.

— Видишь, Муйтан, я даю тебе кое-что, что гораздо ценнее всех ярлыков. Я дарую тебе саму душу Урала! — назидательно произнес хан. — Не подведи же меня, Муйтан!

— Я сделаю все, что приказано... — помолчав, заверил хана Муйтан...

Глава третья Незванные гости

Как и много лет назад на Иртыше, вновь съехались кипчакские владыки на курултай. Только теперь он проходил на Дону, и, увы, многих, слишком многих гостей не досчитались хозяева степного джиина. Многочисленные шесты, стоявшие вокруг белого шатра хозяина, созвавшего на курултай своих собратьев, — Аккубуля, повелителя донских половцев-балаусов, на которых должны были взметнуться стяги приехавших биев, наполювину пустовали. Западные кипчаки на этот раз не досчитались своих восточных собратьев. Не было здесь ни Муйтана, ни старого хитроумного Майкы, ни изворотливого Сыйла-бия, ни многих других...

Да, невесело, совсем невесело начался курултай в этот раз, глубокие морщины пролегли на челах биев, отягощенных тяжкими раздумьями. Все прекрасно понимали, почему их восточные сородичи проигнорировали приглашение. Знали, Муйтан, этот старый лис, уже на пути в Кара-

корум, а может, уже сидит на одном ковре с Чингизом и за здорово живешь продает их ему со всеми потрохами. Сыйла-бий — тот давно уже на службе у Джихангира, а Майкы, старая бестия, как и обычно, выжидает, держа нос по ветру. Расколосась степь Дешт-и-Кипчак, — как раз в тот самый момент, когда должна была сплоститься перед наступающим врагом.

За пологом юрты уже темнело, но бии и не думали расходиться — спорили, обсуждали, прикидывали. Как быть дальше? — один вопрос тревожил их. Пойти ли в поводу у восточных ренегатов, снарядить караваны даров в сторону монгольской столицы, или же стоять насмерть, как поступали их отцы и деды?

— Нет, в Каракорум мы уже опоздали, — говорил мудрый и дальновидный Котян, предводитель запорожских половцев. — Муйтан опередил нас и, наверняка, уже очернил нас перед ханом, выслужился, паскудный пес. Я никогда не доверял ему. У нас нет другого выхода, — мы должны выступить против монголов или умереть.

— Может, еще не поздно послать гонцов к Субутая? — колебался сам Аккубуль. — Я слышал, что он совсем недавно разбил Джелал-ад-Дина и теперь грабят города гурджиев и армян. Предложим ему помощь, ударим с тыла. Говорят, Субутай имеет большой вес в ханской ставке, — он не забудет нас, когда будет докладывать Чингизу о западных победах.

— Может все-таки стоит объединиться с урусами? — возражал Котян.

Бии лишь усмехались в ответ, знали, что давно уже старый запорожец братается с русскими, ездит в Киев и в Любеч, помогает князьям войском в их разорительных междоусобицах. Что ж, он ведь и живет у них под самым боком. С волками жить — по волчьему выть... Хотя здесь было наоборот, ведь сами урусы всегда называли половцев волками. Видя недоверие на лицах своих собратьев, Котян спешно добавил:

— Нет, конечно же, только на время! Заключим с князьями мир в Любече, а как отгоним Субутая, кто нам помешает снова пойти на Киев, как в старые добрые времена? Уж я-то

знаю, что любой договор, который заключается в Любече — обычный клочок бумаги, не более. Сами-то урусы никогда не держат слова, данного своим же, чего уж мы-то будем церемониться с этими лапотниками?

— Ага, — рассмеялся Аккубуль, давний недруг Котяна. — Заключим с урусами мир, а они возьмут и заключат такой же с самим Субутаем. И возьмут они нас в клещи.

— Этого не будет, — Котян побагровел. — У меня тесные отношения с князем Мстиславом, и он знает с моих слов, что делают монголы со всеми покоренными народами. Особенно — с земледельцами. Нам, степнякам, Субутай менее страшен, чем урусам.

— Вот и я о том же! — ловко повернул в свою сторону разговор Аккубуль. — Лучше нам идти к Субутая, нежели к сиволапам...

— Да неужели вы не понимаете, что и мы, и урусы, и все прочие народы находимся в одинаковой опасности? — в разговор вступил горячий Бушман-бий. — Они на всех смотрят лишь как на быдло! И если мы не объединимся, то они растопчут нас по одиночке! Тем более... — тут владыка идельских кипчаков выдержал загадочную паузу, — у меня есть верные сведения о местонахождении Субутая.

— Что? — бии напряглись, подались вперед. На их лицах промелькнул страх.

— Вчера в мой стан пришел человек, прибывший с Кавказа. Кстати, он наш старый знакомец. Помните того башкирского паренька, которому вы лет семь назад отдали Каныкей? Это он и есть!

— Веди его сюда! — взволновались бии. — Пусть расскажет все, как есть!

— Он уже здесь! — усмехнулся Бушман. — Эй, Алпар, ты можешь войти!

Качнулся полог юрты и, небрежно отодвинув скрещенные копыя стражников, стоявших у входа, к собранию биев вышел Алпар.

* * *

— Субутай разгромил гурджиев и армян и идет прямо сюда. Еще две-три недели — и монголы будут здесь, — сообщил Алпар встревоженным

биям. — Так что уже поздно идти к нему на поклон. Субутай разъярен сопротивлением, которое оказали ему на Кавказе, он обезумел от крови. Его интересует только война.

— А откуда ты все это знаешь, башкир? — подозрительно прищурился Аккубуль. — Ты вообще какой-то странный человек, — простолюдин, а постоянно попадаешь в гущу событий!

— Не такой уж я и простолюдин, как могу показаться, — с достоинством ответил Алпар. — А то, что я вечно попадаю в самый водоворот, не моя вина, а моя беда. Но, видимо, так угодно богам. А знаю я все не понаслышке. Долгое время я провел в Хорезме, сидел в зиндане. Там я и пережил гибель сияющей Бухары. Монголы не оставили и камня на камне. Они вырезали всех жителей, которых не смогли увести с собой. То же они сделают и с вами, помяните мои слова! Потом я три года сражался в отрядах Джелаль-ад-Дина. Но теперь его войска больше нет, слава его потускнела, и некому больше сдерживать этих бешеных псов. Так что если вы надеялись отсидеться за спинами других народов, то смею разочаровать вас — не выйдет! У вас только две возможности — победить или умереть!

— Всем все ясно? — Бушман обвел притихших, призадумавшихся биев пронзительным взглядом горящих черных глаз. — У нас нет другого выбора — мы должны объединиться с урусами, с булгарами, с башкирами, да хоть с самим Эрликом, если нужно! Даже владыка подземного царства менее страшен, чем кровопийца Субутай.

... Бии яростно спорили до самого утра. Наконец, верх одержала точка зрения Котяня. Кипчаки порешили немедленно выслать послов к урусам, булгарам и башкирам.

— Нет, одними послами здесь не обойтись, — возразил Аккубуль. — Кто-то из нас должен лично поехать и к киевскому князю, и к болгарскому царю, и к старейшинам башкир. Я думаю, что к урусам поедет Котян, кто как не он знает их как свои пять пальцев? Ты, Бушман, отправляйся немедленно в Булгар, они твои соседи, они поверят тебе. К башкирам...

— тут Аккубуль смерил изучающим взором сидевшего тут же Алпара, — ну да, к ним поедет вот этот самый башкир. А мы снабдим его вверительными грамотами.

— А что же будешь делать ты, Аккубуль? — ехидно ухмыльнулся Котян.

— Я? — Аккубуль немного замаялся. — Я останусь на Дону и буду собирать всех окрестных кипчаков на войну. Если Субутай придет раньше, чем мы его ждем, его встретит достойный прием... — он кровожадно ухмыльнулся.

— Смотри же, Аккубуль, — Котян вперил в него тяжелый взор. — Мы тебе верим. Не подведи нас!

— На том и порешили! — кивком головы Аккубуль поспешил закончить затянувшийся курултай...

* * *

В путь собирались быстро, — нужно было спешить, успеть добраться до вероятных союзников раньше, чем монголы перейдут Терек. Но быстрые кипчакские кони, нет для них преград в степи — и до Киева довозут, и до Булгара, и до Башкортостана...

Алпар поехал вместе с Бушманом. По пути было им: один ехал в Булгар, второй — на родину предков. Но было и еще кое-что, что объединяло этих людей. С самого начала, еще с прошлого курултая, приглядывался Бушман к Алпару, чувствуя к нему неизъяснимую симпатию. Чуждотважный кипчакский богатырь некое родство душ, близость интересов — не случайно в тот раз он столь горячо поддержал его. А теперь — тем более, когда поведал ему Алпар свою печальную историю, главным виновником в которой был старый Бушманов недруг — все тот же пресловутый Сыйла-бий.

И Алпа чувствовал симпатию и уважение к карагайскому батыру — отнюдь не случайно, прибыв на курултай, он первым делом направился в его шатер. Знал — этот не станет кобениться, шипя сквозь зубы “простолюдин”, выслушает, поверит, поймет...

И теперь они уезжали с курултая вдвоем. Не ведали еще оба, насколько тесно сплетутся их судьбы, когда обоим суждено было стать боевыми побратимами, товарищами по оружию в ожесточенной борьбе за свободу.

* * *

Проводив гостей, Аккубуль не стал расхляпываться. Угрюмо-злорадная ухмылка играла на его губах, когда он разговаривал со своим младшим братом Ансаром.

— Этот дурак Бушман думает, что только он все знает! Притащил какого-то башкирского дезертира и думает, что стал всеведущ, как сам Тенгри? Не у него одного есть лазутчики... Слушай внимательно, брат мой, у нас мало времени. Я знаю доподлинно, что Субутай уже переправился через Терек и разбил там свой лагерь. Старый монгольский пес зализывает свои раны — горцы изрядно потрепали его. И это как нельзя лучше для нас.

— К чему ты клонишь? — не на шутку испугался Ансар. — Уж не хочешь ли ты...

— Я хочу одного — чтобы ты поехал к Субутаяу. И немедленно. Я думаю, он не откажется от неожиданных союзников в тылу врага.

— Но ведь это... — бормотал потерянный Ансар, — но ведь это же...

— Да, это предательство, — спокойно усмехнулся Аккубуль. — И без тебя знаю степные законы. Но сейчас не дедовские времена. Монголы жалят

как змеи, неожиданно, и теперь пора забыть старые сказки о чести и совести. Выживает не тот, у кого есть честь, а тот, кто умеет хорошо вывернуться. А мы должны выжить, пойми.

— Да, ты прав, — после тяжелого раздумья согласился Ансар. — Что я должен сказать Субутаяу?

— Мы ждем его на Дону не ранее, чем через две-три недели, — улыбался Аккубуль. — Ведь он же должен отдохнуть, оправиться после кавказских боев. Привольные терские пастбища нужны его коням, оголодавшим в долинах Кавказа, а его воинам нужен неплохой привал. Но главное — это все же кони. Воин, даже усталый, все равно будет драться, если под ним будет свежий и резвый конь. А монгольский воин — тем паче. Я слыхал о свирепости монголов — о ней складывают леденящие кровь легенды. И мы с тобой подстегнем их кровожадность. Да, да, ты пригонишь Субутаяу свежих коней и заверишь его в нашей дружбе и любви к великому Джихангиру. Скажи, что от него требуется только одно — он должен быть на Дону ровно через неделю...

— Понимаю, куда ты клонишь, — тихо рассмеялся Ансар, захваченный хитроумным и коварным планом своего брата. — За это время на Дон успеют прибыть разве что только урусы, а...

— Мне нравится ход твоих мыслей, — хихикал Аккубуль. — А выскочка Бушман со своими булгарамии, и тот башкирский оборванец



попросту не успеют. А кто не успел, тот опоздал... Мы же тем самым убьем сразу двух зайцев, точнее — трех. Первый из них — заслуга перед монголами, которую они не забудут. Это наш шанс на спасение и на будущую жизнь. Пусть при новых господах, что с того? Мы будем править степью от их имени. Второй наш зайчик — это давно сидящий у меня в печенках Котян. Пусть монголы потреплют ему бока, а мы подмогнем с тыла. А третий — это разбитые урусы. Когда монголы сломят им хребет, никто не помешает нам грабить Русь, как это было при наших дедах... Вот такой расклад, братишка...

* * *

Субутай-багатур выслушал Ансара молча, его усеянное шрамами свирепое лицо было непроницаемым. Однако при виде огромного стада холеных и резвых кипчакских коней улыбка слегка тронула его тонкие поджатые губы.

— Ты, конечно, предатель, и при других обстоятельствах я просто велел бы разорвать тебе грудную клетку и выдрав оттуда трусливое сердце, скормить его псам. Но в одном ты прав — кони нам действительно нужны... Так же, как и хороший удар с тыла. Так через сколько ты говоришь мы должны будем стоять на Дону?

— Через неделю, — торопливо бормотал Ансар. — Мы с братом подыскали хорошее место для боя. Есть небольшой приток Дона — Калка, это идеальное место для боя с урусами.

— Мы будем на Калке через восемь дней, предатель, — улыбнулся Субутай. — Я думаю, этого хватит нам за глаза...

* * *

Расставшись с Бушманом у ворот Булгара, Алпар погнал коня в сторону Уральских гор. Быстрее мысли скакал отменный скакун, — и день, и ночь спешил посланец кипчаков на свою родину. Надо было успеть, успеть во что бы то ни стало — промедление было смерти подобно.

И вскоре показались дымки первых башкирских кочевий. Но радо-

ваться возвращению на родину не было времени. Едва успев кинуть поводья коня подбежавшим мальчишкам, Алпар поспешил к юрте старейшины и, осушив залпом тустак кумыса, вручил старику письмо, писанное древними рунами на бересте. И суровели дубленые сморщенные лица удалых стариков, а Алпар уже скакал далее, и по кочевьям начинал раздаваться топот собирающихся в дорогу коней, бряцало оружие.

За два дня Алпар успел объехать кочевья племен Байлар, Ыласын, Буре, Гайна и Танып, ехать далее, в восточные рубежи Башкортостана, уже не было времени. Но несласть уже весть по всем башкирским кочевьям о том, что близится большая и кровопролитная война...

Собрав отряд в пятьсот человек и условившись с прочими, чтобы они догоняли его на пути к Булгару и далее — к Дону, Алпар поспешил обратно. Молнией несся отряд удалых егетов по башкирской земле, лишь горели угрюмые глаза под мохнатыми шапками.

* * *

Огромная русская армия растянулась по всей степи, — не один месяц потребовался, чтобы собрать ее, — но большинство князей же было заранее оповещено Котяном о близящемся враге, достаточно было его сигнала, чтобы вся грозная лавина двинулась в путь к Дону.

Легкоконные кипчаки сновали туда и сюда вдоль пути русской армии, нетерпеливо понукая своих союзников, но тем было хоть бы хны. Ехали с обозами, то и дело норовя устроиться на привал — привыкли воевать по старинке, неспешно. Хлеборобы, одно слово! Еще и огрызались на степняков, дескать, нишкните, поганые, а то и без вас управимся... Трубили рожки, гудели зурны и гусли в русском войске — шли с залихватскими песнями, на авось, — мол, с половчинами справляемся, а татаровой и подавно в бараний рог согнем... Гораздо лучше оповещенные о том, с каким врагом им предстоит схлестнуться, кипчаки лишь скрипели зубами при виде такой беспечности.

Как бы там ни было, а русская телега долго разгоняется, да едет споро. На девятый день передовые отряды русских князей, сопровождаемые кипчакскими союзниками, вышли к Калке. На том берегу их уже ждали. Горели костры, сверкали в рассветных лучах, отливая тревожным багрянцем, острия монгольских пик и начищенные до блеска медные трофейные хорезмийские щиты.

Лазутчики, вернувшиеся с того берега к вечеру, округляли глаза:

— Кони под погаными свежие да сытые! Половецкие то кони, по всему видать...

— Ах ты, пес! — взъярился на хмурившегося при таких вестях Котяна князь Мстислав Романович Киевский. — Ты что нам говорил, мол, татарове в горах побиты, комони под ними тощи... А это что по-твоему? Откуда у них половецкие кони, а?

— Аккубуль, — нехорошо ощерившись, развернулся к неожиданно побледневшему предателю Котян.

— Откуда у монголов наши кони? — поинтересовался у Аккубуля старый запорожец.

— Прозевал, — притворно потупился Аккубуль. — Отбили коней у моих же пастухов, всех, что паслись ближе к Тереку...

— Пес! — в сердцах замахнулся на Аккубуля нагайкой Котян, но видя, как ухмыляясь наблюдают за их ссорой русские князья, умерил свой гнев. Бить своих, чтобы чужие боялись, было не в его правилах. Да и времени уже не оставалось на свары. На утро их ждал бой с врагом, у которого появилось неожиданное преимущество.

* * *

— Мы не должны сражаться сейчас, нам надо дожидаться Бушмана с булгарами и башкирами. Мы должны отступить обратно в степь и ждать... — горячо убеждал всех Котян. Но русским князьям не терпелось справиться с ворогом одним махом. И это было на руку Аккубулю.

— Пока мы будем ждать, Субутай может ударить нам в тыл, — фальшиво улыбался хмурому Котяну Ак-

кубуль. — К чему нам ждать этого карагайского выскочку? Приедет, а потом будет хвастать по всей степи, что, мол, без него бы не справились. Кто не успел, тот опоздал. Пора воевать, а не распускать сопля! Сил у нас достаточно — врежем косоглазым, пока не опомнились! Эй, Котян, — поддел он его ехидно. — Или, быть может, ты испугался, а? Труса празднуешь?

— Никто не смеет называть Котяна трусом! — взъярился горячий кипчак. Тонкий психолог Аккубуль хорошо знал слабое место своего давнего недруга...

— Мы выступаем немедленно, — он смерил ухмыляющегося Аккубуля тяжелым взглядом. — А там поглядим, кто из нас трус...

Так, в передрыгах и взаимном недоверии, заранее решила судьба предстоящей битвы...

Глава четвертая

Катастрофа на Калке

Чему быть, того, как говорится, не миновать. Битва на Калке началась еще до рассвета, как и было задумано. Киевский князь Мстислав Романович и брат его Даниил спешили войти в историю — оторвавшись от основного войска, переправились они на другой берег и вступили в стычку с монгольскими сторожевыми отрядами. Здесь их ждал успех, монголов было слишком мало, к тому же исполнили они приказание мудрого Субутая — в мелкие стычки с врагом не вступать, уходить вглубь, вызывая у противника иллюзию, что монгол можно побить одним махом. Окрыленные быстрым успехом, князья вернулись в лагерь, гоня перед собой отбитых у врага коней.

— Бежали аки зайцы! — кричали русские, спрыгивая с коней и припадая к жбанам с вином, которые в изобилии везли обозы.

— Эдаких-то мы и малой кровью добудем! Соплей перешибить эдаких вырождков — и то грех! — смеялись в русском стане. Сами мелки да ледащи, чуть что — на коня и дай бог ноги! Не было еще силы, чтоб одолела русской земли-то!

Кипчаки помалкивали, только лица их мрачнели при виде нарастающего веселья в лагере союзников.

— Вы бы попрдержали вино до победы, — посоветовал Котян Мстиславу.

— Да нишкни ты! — отмахивался довольный и разгоряченный князь. — Моим богатырям хмель не помеха! Веселее биться будут!

— Ай-хай, князь, ай-хай, — качал головой Котян. Увы, он чувствовал, что тень грозной беды неумолимо наступала на их объединенное войско. Тщетно смотрел он на северо-восток в ожидании подкрепления Бушмана, — слишком уж долг путь от Булгара, не поспеют...

* * *

Ближе к полудню, когда русские уже успели одолеть и даже норовили, как это водилось исстари на Руси, завалиться на боковую, отборные части Субутая, укрепленные отрядами побежденных горцев, вывезенных с Кавказа, стали переправляться через реку. Наступал самый ответственный момент, но князя приняли спорить между собой — кому какую позицию занять? В силу вступили старые дряги, неуместные при наступающей опасности, но привычка, как говорится, вторая натура.

Разногласия, казалось, разрешил Аккубуль.

— Вы начнете битву, а мы пойдем следом, — заявил он. — В середине битвы мы, как это у нас водится, заманим врага притворным отступлением, а когда передовые отряды Субутая вклинятся в ваши ряды, отсекайте их от прочих и бейте что есть мочи. В этот момент вступят запасные отряды русских и свежими силами завершат разгром.

— Мы пойдем в запас! — вперед вызвались Мстислав Романович Киевский, его зять Андрей и боярин Александр Дубровский.

— Мы уже бились с татарвой, так и отдохнем заодно...

— Ладно! — согласились кипчаки. — Но учтите, — мы побежим, вы же не паникуйте! Покуда будет над нашими рядами виться голубой стяг с

вышитой на нем золотой головой священного волка, знайте, все в порядке!

— Ясно! — соглашались русские. — Будем держаться волчьей головы!

— Ну что, Котян? — обратился к своему недругу посмеивающийся Аккубуль. — В бой пойдем вместе? Давно уже хотел испытать тебя в деле...

— Староват я уже для такого мессива, — проснувшаяся осторожность остудила пыл старого кипчака. Чуял он своей измозоленной о седло коня задницей, что близится неправившая беда, не верил Аккубулю.

— Вместо меня пойдет мой нукер Ярун, — хитро улыбнулся Котян. — А я побуду в своем шатре на холме. Буду наблюдать за битвой. В самый ответственный миг я примкну к вам.

— Ну что ж, — хмыкнул Аккубуль. — Спину мне боишься подставлять?

— И то правда! — согласился Котян, твердо глядя Аккубулю в глаза. — Я скорее поверю самому Субутая, нежели тебе!

— Да что ты, Котян! — тянул Аккубуль с притворным возмущением. — Ворон ворону разве глаз выклюет?

— Может, ты и ворон, — брезгливо сплюнул Котян. — А я — орел. А пока вороны грызутся из-за падали, орел наверху летает...

— Нашими руками жар хочешь грести? — вскинулся Аккубуль. — Да ты просто трус, вот и все!

— Вместо меня пойдет Ярун! — еле сдержал руку с намертво стиснутым мечом Котян.

— Ах ты... — прошипел сквозь зубы Аккубуль, но в этот момент взвыли кипчакские курнаи и русские зурны, возвещая о начале битвы. Ссориться далее уже не было никакого смысла. Наступал миг, когда решались судьбы Дешт-и-Кипчака и всей Руси...

* * *

Первыми встретили натиск монгольской конницы отряды Даниила Романовича, Семена Олюевича и Василька Гавриловича. Им пришлось несладко — были-то на сей раз отнюдь не сторожа, набранные из покоренных народов и потому не питавшие особого интереса к победе, а отборные вои-

ны Субутая, прославленные ветераны. И сам Урянхайский Барс, как звали старого смутьяна и вояку, ехал с ними в наводящей ужас на неискушенных в восточных боевых новинках русских обитой листами железа арбе, грохотавшей унизанными стальными отточенными косами колесами, из-под которых летели клочья окровавленной плоти попавших в спицы коней и всадников.

Даниил Романович, однако, был уже разгорячен хмельным фряжским вином, да и молод был брат киевского князя — всего восемнадцать весен встретил он на своем веку, и без всякого вина пел и играл в нем задорный молодецкий дух.

— Братие! — воззвал к дружинникам Даниил. — Не посраим земли русской!

С отчаянным криком пустил он коня прямо на Субутаеву арбу, но на встречу, из-за стального облучка уже вставал сам Урянхайский Барс. Кривая усмешка заиграла на его тонких губах.

— Ай-я-я! — тонко взвизгнул Субутай, подымая наизготовку копье и... в следующий миг на острие его дернулся, трепыхнулся молодой и горячий Даниил Романович. Острие прошило его грудь меж колец кольчуги. И так бы и пасть молодому витязю, да верные челядинцы подоспели, оттащили от смертоносной арбы, вынесли с кипящей, ревущей, плюющей кровью и клочьями кромсаемой в капусту плоти битвы...

* * *

... Когда Даниил, а с ним несколько десятков князей и наиболее отчаянных их дружинников, составивших авангард союзного войска, вгрызлись в ряды монголов, стремясь пробить их насквозь и, разобшив, уничтожить, Аккубуль, быстро оглянувшись по сторонам, схватил за руку скакавшего рядом с ним молодого нукера Яруна, который стремился вслед русским.

— Осторожнее, Ярун! — шепнул он ему на ухо. — Мы должны беречь себя!

— Что ты говоришь, Аккубуль! — возмущенно прокричал нукер Котя-

на, сиюсь освободить руку из железной хватки предводителя донских кипчаков. — Да как ты смеешь останавливать меня? Немедленно в бой! Мы должны разгромить их одним стремительным ударом! Или ты забыл, что мы обязаны подчиняться приказам Котяна? Отпусти меня!

— Никогда в жизни донской кипчак не будет подчиняться приказам грязного запорожца! — нехорошо ощерившись, прорычал Аккубуль.

— Мой долг — вытащить всех нас из этой бойни, которая неминуемо закончится нашим поражением! Бежим, Ярун, и как можно скорее! Нам нужно всего-то опрокинуть русские ряды и дождаться конца сечи! Субутай не тронет нас, мы с ним договорились! Придет день, и ты назовешь меня своим спасителем!

— Предатель! — прокричал юноша, замахиваясь на него мечом.

— Ах, ты, щенок! — проревел предатель, пуская коня прямо на Яруна. Всадники сшиблись, направив друг на друга острия мечей, но Аккубуль оказался проворнее — клинок его вонзился в самое сердце отважного юноши. Выхватив из его обмякшей руки кипчакское знамя, предатель, не долго думая, переломял древко пополам и скомкав драгоценное полотнище, сунул его себе под кольчугу. В следующий миг он проорал во всю мощь легких:

— Измена! Ярун убит! Даниил убит! Мы окружены!

Повернув коня прямо навстречу русским отрядам, несшимся на врага, он помчался обратно, продолжая кричать, и невольно, как песчинка, начинающая собой обвал в горах, увлекал за собой остальных и сеял панику. Кипчаки, считавшие, что речь идет об обычном притворном наступлении, — те, кто скакал позади передовых отрядов и не видел происходящего на переднем фланге, поверили его словам и поскакали следом, неумолимо сминая ряды следовавших за ними русских. Русские же дружинники, не видя перед собой половецкого знамени и развевающегося малинового султана на шлеме князя Даниила, поддались панике и один за другим стали поворачивать коней назад.

— Измена! — кричали они во все горло. — Спасайся кто может!

Паника распространялась по союзному войску как чума. И вот уже вся лавина многотысячной армии, до того отважно рвавшейся в бой, катилась по степи в постыдном бегстве, преследуемая ликующими монголами. Князей же и ядро отборных русских дружин, державшихся вокруг них, тотчас же отсекали от основного войска и взяли в железные клещи, а те из союзников, кто не попал в это число, но все же не поддавался панике, были мгновенно сняты и уничтожены наступающими монголами.

Аккубуль мчался впереди позорно бегущей армии, и с уст его срывался торжествующий смех. Все складывалось как нельзя лучше! Русские будут уничтожены. Запорожская орда, цвет военной мощи Котяна, которую он так ненавидел, деморализована и большую ее часть, бесспорно, перебьют дышащие ей в затылок монголы. И Эрлик с ними, с запорожцами! Будет даже лучше, если большая часть этих белокрысых олухов поляжет в бою. Затем власть Джихангира воцарится над разрозненными степными родами и в Дешт-и-Кипчаке, обескровленном ужасающей сечей, найдется мало желающих протестовать. И чем меньше запорожцев, этих упрямых патриотов, останется в живых, тем лучше для него. Когда он станет править Дешт-и-Кипчаком от имени Чингиз-хана, он будет полностью уверен, что никто не поднимет против него мятеж. Все будет просто прекрасно! Великолепно!

* * *

Да, такого ужасающего и позорного разгрома Русь не видела даже во времена злополучного Игоря. Здесь, у Калки, полег весь цвет лучших княжеских родов, ведших свою родословную от конунга Рюрика и его сына Игоря. Пали здесь и прославленные русские богатыри, и среди них, как свидетельствовали потом летописцы, легендарный Алеша Попович. Некому было больше защищать осиротевшую Русь...

* * *

В ужасе взирали на творящееся в пойме Калки побоище князя, оставшиеся в резерве, с вершины занятого ими холма. Так и не довелось им вывести свои полки, как это было задумано в начале боя.

Ближе к вечеру на холм въехал монгольский парламентар. Им оказался главарь степных бандитов-бродников — беглый из киевской тюрьмы убийца и вор Пlosкиня. В ужасе и гневе усталились на него высокородные русские князья. Бог ты мой! Ведь бродил по степи в рубище, с серьгой в ухе, трепля заезжие караваны, а потом, иной раз, испугавшись за содеянное, привозил князьям их долю, хихикал услужливо, кланялся земно. Знать, почуял поживу, прибежал к Субутаяу, едва услышал о пришествии нечистых “агарян”... Ворон-то ворону глаз не выключает...

Да, теперь Пlosкиня был другим. На уродливой голове его, приплюснutoй будто ударом обуха (за что, собственно, и заслужил свою кличку), горделиво сидела бобровая шапка, сорванная с еще теплого княжеского трупa, на жирных пальцах — еще окровавленные драгоценные перстни, — с пальцами рубил, окаянный! Под Пlosкиней в полном ужасе князья узнали белого жеребца князя Василька. Да, хороший урожай пожал Пlosкиня под Калкой... Хоть и не воевал, шакал, но трупы пограбил. И чьи трупы-то? Своих же, русских!

И куда деваться, встретили его князья как самого дорогого гостя. Мстислав Романович, гордый киевский князь, сам когда-то издававший указ о том, чтобы изловить Пlosкиню да бить его батогами, да жечь железом каленым на полюдьях киевском, но так и поленившийся исполнять указ свой, сам! — своею рукой — взял белого коня под уздцы, помог сойти дорогому гостю, подал ему дрожащей рукой золотую чару, полную дорогого вина.

Пlosкиня выпил, цедея вино, будто болотную водицу какую, да еще и сплюнул под ноги. Слуги князевы, низко кланяясь, подали ему на блюде

хлеб-соль, — мол закуси, не побрезгуй, мил человек.

Но лишь рукой махнул сытый и валяжный Плоскиня, — не надо, дескать...

— Уж не гнушайся, иди к столу, отобедай с нами, чем бог послал, попоходному! — суетился перед ним князь.

Опростав цельный жбан вина и закусив свежезарезанным половецким бараном, Плоскиня, наконец, соизволил говорить.

— Субедай-богатырь, человек царев, правая рука Чагонизова, прощает вас, неразумные! — цедил лениво Плоскиня, ковыряясь в зубах острием кинжала. Князья, смотрешшие в его зловонный рот, светлели лицами, облегченно вздыхали, размашисто крестились... Пронесло, пронесло...

— Да, прощает, — гнусил Плоскиня, тиская за бедро усаженную рядом с ним любимую князеву наложницу Забаву, с коей не расставался Мстислав даже в походах. Князь был багров лицом, но терпел. Шкура-то дороже бабы! Потому как не стали в пекло лезть, на холме отсиживались. То Субедаю любу. Но не по нраву человеку цареву, что вы труса праздновали. Не как князья поступили вы, а как торгаши, что своей тени боятся. А потому он с вами как с купчишками поступить решил. Уплатите ему дань — и валяйте на все четыре стороны...

— А не обманешь? — несмело протянул трясущийся как осиновый лист князь.

— Я-то? — скосорылился Плоскиня. — Дык я что — не русин, что ли? Аль креста на мне нет? Вот — крест целую на том! — он, ехидно поглядев на князя, прижал губы к вырезу Забавиногo платья и чмокнул ее в нательный крест, пройдясь заодно и по взволнованно дышащим полным грудям. Князь потупился — не мог видеть, как зарделась зазноба его, как заулыбалась довольно. Ах, потаскуха, потаскуха! А он ее из грязи вытаскивал, со двора скотного, в меха ее одевал, в золото да жемчуга ганзейские! Да, прав был галл-то тот, что сказал ромеям — горе, мол, побежденным!

— Хорошо! — вздохнул Мстислав. — Бери все, что пожелаешь. Все отдам!

— А Забаву? — протянул Плоскиня.

— Уже твоя, посол царев, — не подымая глаз, отвечал опозоренный князь.

* * *

До самой темноты бродники плоскинины, хохоча и перешучиваясь, грузили в подводы княжеское добро, а Забава, упившись браги, им в том резво помогала да еще и советовала, мол, того возьмите, этого... Разоренные князья лишь соплями утирались. Наконец, речь зашла об оружии — и его захотел Плоскиня. Куды ж деваться-то, отдали и оружие. Только б живыми в Русь вернуться...

В то же самое время к холму подтягивались монгольские воины. Едва княжеское оружие полетело на подводы, свистнул Плоскиня соловьем-разбойником и вылетели из тьмы удалые, молчаливые нукеры да и повязали оторопевших князей.

— Ах ты-и, гни-и-ида-а! — сипел Мстислав, которого монголы волокли на аркане к въехавшему на холм Субутаю. — Ты ж крест целовал, собака-а... И-иро-од!

— Концом перекрестись, князек вшивый, пока не оттяпали! — орал ему вслед пьяный Плоскиня, тиская хмельную и веселую Забаву. — Мне ж кресты твои даром не надобны... Я в веру татарскую перешел!

Субутай с минуту разглядывал скуливших, ползавших в грязи под копытами его коня князей. Затем щелкнул пальцами.

— Пора праздновать победу, мои верные воины! Эй, Аккубуль! — позвал он невесть откуда взявшегося кипчака. — Тащи-ка доски...

* * *

Спаслись от лютого побоища немногие. Предусмотрительный Котяня сберег своего старого боевого побратима Мстислава Галицкого, не пустил его в сечу. В ту же ночь переправились они через Калку и бежали на Русь, сжегши за собой все лады, во

избежание погони. Также избежал побоища Василью Игоревич Черниговский, опоздавший к месту битвы.

Разрозненные остатки русских войск высланные Субутаем карательные отряды гнали до самого Новгорода-Святополча...

* * *

Но и в Дешт-и-Кипчаке еще оставались силы. Тенгри хранил их, хоть и не успели к битве, зато живы остались.

На третий день к месту побоища на Калке выехали объединенные войска карагай-кипчаков, болгар и башкир.

В гробовой тишине, лишь прерываемой иногда ленивым граем обожравшихся ворон, ехали по месту лютой сечи Бушман и Алпар. Копыта их коней спотыкались о груды гниющих, наваленных в беспорядке трупов. Замирая от гнева, видели степняки страшные следы мародерства — отрубленные пальцы и уши, выколотые глаза. Бродники, по всему видать, еще долго гуляли на поле боя, даже после того, как отягощенные добычей основные силы Субутая ушли на восток. Туда вводила вытоптанная многочисленными нековаными копытами монгольских коней дорога.

— Следы еще не остыли, — пробормотал Бушман, крепче стискивая поводья своего коня. — Ушли, сволочи! Думали, что одолели Дешт-и-Кипчак? Нет! Нам так просто хребет не сломать! Эй, батыры! — воскликнул он зычно, привставая на стременах.

— В погоню за насильниками и убийцами! Недолго им рыгать кровью наших братьев и союзников! Так пусть же их вырвет кровью, когда мы ударим им в спину!

Глава пятая Возмездие

Монголы возвращались в ханскую ставку на Иртыше неспешно, будто коршуны что летят наевшись падали, да еще и несут в клюве поживу птенцам. Что и говорить, Субутай-багатур

постарался на славу. Джелаль-ад-Дин разбит, дорога на Передний Восток открыта, гурджи и армяне усмирены, горские народы Кавказа — ассы, аланы и прочие спустились с перевалов Бештау и Казбека, чтобы засвидетельствовать свое почтение новым завоевателям мира. Мало того, многие из покоренных народов влились свежей струей в потрепанное войско Субутая, обеспечив во многом стремительную победу на Калке.

Но Субутай уже привык не удивляться победам, как волк, объевшийся за свою жизнь свежатины. Многого он навидался за свою долгую и совсем не легкую жизнь степного бродяги. Видел и предательство, и кровосмесительство, и барымту, потому лишь посмеивался, глядя на то, как один за другим приползают к нему на брюхе местные хозяева, готовые за кусок Чингизова пирога продать и родину, и свой народ, и свою честь... Говорят, жил в Македонии в стародавние времена хан Филипп, отец Искандера Двурогого. Он, говорят, открывал ворота городов мулом, нагруженным золотом. А здесь иной раз и в золоте не было нужды — животный страх бежал впереди Чингизова войска, заполошной куланихой, ревя во весь голос, — спасайте свои шкуры!

И ведь нельзя было сказать, что они не правы, те, предатели, спасавшие свою шкуру ценой продажи всего святого, — нет! Кому как не ему, Субутая, чье имя значило — “смутьян”, “тот, кто мутит воду”, было не знать, что нет ничего на свете ценнее, чем просто жизнь. Пусть рабом, пусть калекой, пусть даже самым ничтожным червем, прилепившимся к подошве Джихангира.

Сам он прошел тяжелый и долгий путь от мальчишки из захолустного урянхайского урочища на границе тайги, где люди коротали свой век в чумах и пасли не то что овец, — оленей, будто те бедолаги, что живут за тайгой, в местах, где царствует вечная зима. Но Субутай не был бы Субутаем-смутьяном, если бы остался со своим родом. Добровольно продал себя в рабство заезжему уйгурскому купцу, уехал в Китай, где долгое вре-

мья служил чжурчженям... Был и простым стражником, и пограничником, потом дослужился до гвардейца. Поссорившись с начальством, бежал он за Великую Стену и вернулся в родные степи, где было весело жить, где длинная степная воля звала под свои пестрые знамена всех людей, чей целью в жизни было мутить воду.

Там и встретился он с Темучином, и встретившись, поверил ему безоглядно и шел за ним вот уже без малого полвека. Хоть и не был монголом сам, понимал — ни язык, ни кровь ничего не значат перед простым, но так много значащим словом “империя”.

Что ж, он не ошибся, сделав свой выбор тогда. Темучин стал Чингизом и создал империю из пустоты, из дунувений степного ветра и гари пепелищ. Знал Субутай — была бы сильная идея, в которую верят люди, а все остальное нарастет, как нарастает жир на овечьи ребра привольной монгольской весной. А там, где есть идея и люди, способные вытащить эту идею в реальный мир, туда идут и прочие. К Чингизу пришли уйгуры, помнившие как строить государственный механизм и обслуживать его, — сами каганат имели в свое время, — китайцы, эти хитрые поклонники Конфуция, но предпочитавшие следовать неисповедимым путям Дао, звавшего их в объятия Джихангира... Потом — Махмуд Ялвач из Алмалыка, мусульманин, но в душе — истинный человек длинной воли, другие ренегаты — хорезмийцы, кипчаки, персы... Теперь вот этот Аккубуль и его брат. Субутай не стал их трогать, отпустил на все четыре стороны, но предупредил — в любой миг они должны быть готовы встретить дорогих гостей с востока. Встретят... Эти-то встретят...

Самое смешное, что уже почти и не осталось рядом никого из тех, кто все начинал — тогда, почти пятьдесят лет назад. Нет Чжамухи. Нет даже бесноватого Тэб-Тенгри, тибетского недоучки. А ведь Джихангир так ценил его... А где же прочие? Нет... никого не осталось, кто бы еще помнил молодость Чингиза, когда был он еще простым и нищим парнем по имени

Темучин, за душой у которого только и было — память о великих предках, длинная воля, свирепый нрав да горстка головорезов за плечами...

Остался только он, Субутай. Может, потому и выжил, что никогда не стремился, во всяком случае, до определенного момента, найти близость с каганом, есть с ним с одного блюда, сидеть за столом за кубком трофейного вина, как делали прочие. Тех, что забывшись и расплывшись от гордости спешили хлопать посмеивающегося тигровыми глазами Джихангира по плечу и пьяно лопотать “а помнишь?...”, таких-то балагуров и не осталось больше при его дворе. А Субутай выжил, потому что никогда не стремился ко двору, — приезжал в Каракорум только для того, чтобы доложить об очередной победе, и выслушав новое задание кагана, спешить его исполнить. Молча и спокойно — дело привычное... Хотя и помнил почти все, но делал вид, что отшибло у него память. Этим, в общем-то, и жил, потому что Чингиз, хоть и имел длинную волю, ничуть не укоротившуюся за полвека, но не любил долгую память и длинные языки...

* * *

— Здесь и сделаем привал, — решил Субутай, осаживая коня на самом носу мыса небольшой речушки, текшей в распадке. Место для привала было действительно подходящим — укромная лощина в низменности, речка, не имевшая, по всей видимости, названия и впадавшая непонятно куда — то ли в Дон, то ли еще... Тенгри его знает! Самая завалающая речушка, даже не Калка, полузрелая тростником, обмелевшая — вон как вдается в ее русло песчаная коса... Вот на этой-то косе можно устроиться на ночлег, расседлать коней и даже искупать их, хоть и не любили монголы воды, не мылись месяцами, но к купанию лошадей относились с большим тщанием. Дело-то святое — главная опора воина-степняка как-никак!

И вот уже закурились, завиваясь к темнеющему небу, дымы костров, и воины, наконец-то стряхнув с себя

напряженность многомесячного похода, вздохнули спокойно, заулыбались белыми зубами, сверкавшими на дубленых, иссеченных шрамами лицах... От костров послышались песни, от реки — хохот и плеск воды. Некоторые воины, особенно из пришлых, не монголы, скинули с себя обрыдлые кольчуги и сверкая голыми, чумазыми, отсиженными седлом ягодицами, бросились в блаженную воду. Субутай глядел в их сторону неодобрительно, но позволяя — надо же наконец расслабиться! Сам он, конечно же, даже шлема не снял, — освободил верного конягу от седла, положил седло прямо на песок и присел, по-старчески кряхтя. Стар он все-таки стал — жизнь протекла в бесконечных войнах незаметно. Вот уже и седьмой десяток на носу...

Эх, эх, эх, жизнь! Далеко же ты закинула чумазого урянхайского мальчишку из таежного урочища! Чего только не увидел он за свою стремительную кровавую жизнь! Перед ним рушились стены Пекина и Чаньани, с которых кидались на монгольские пики насмерть перепуганные чиновники и горожане, его армия вязла в приамурских и уссурийских болотах, где верные псы Чингиза, облешенные лютой мошкаррой, приводили к покорности местные татуированные племена; его обметавшиеся губы чувствовали соленый привкус тихоокеанского ветра, тогда как глаза его жадно вглядывались вдаль, туда, за горизонт, покрытый барашками волн, — там ждала их сказочная страна Ниппон... А дальше, говорят, была и другая земля — огромная, с бескрайними равнинами, где жили разрозненные краснокожие племена, не ведавшие лошадей и металла, вот где было раздолье для монгольских коней... Да, многое ведали китайские моряки, некоторые даже клялись и божились, что доплывали до тех чудесных краев от берегов Ниппона и даже привозили в дар императору голых краснокожих туземцев с птичьими перьями в черных и жестких как конская грива волосах... Надо было лишь поймать какое-то заветное те-

чение, о котором писалось в старых китайских лоциях...

Но повернули они коней назад, на далекий запад, — заморские края далеко, до них еще доплыть нужно, а вокруг столько мест, до которых нужно всего-то доскакать! Доскакали... И до Янцзы и даже до Меконга, и на север в тайгу, и на юг, до заветной Индии и вот теперь — на Запад...

Впервые в жизни позволил себе Субутай расслабиться, отдохнуть, дать ход неспешным, как облака в небе Дешт-и-Кипчака, мыслям — всю жизнь воевал, пора бы и воспоминаниям предаться...

Да, подвела Урянхайского Барса полувековая сноровка, не сработало звериное чутье, притупилось оно в горах Кавказа, обленилось после легкой Калкинской победы...

Стоило единожды присесть, — и тут же пожалел о том Субутай!

Вот зашатался зашедший в воду по пояс и справлявший туда малую нужду голый алан, рухнул на песчаную отмель со стрелой, торчащей из горла... Еще один... второй... А потом... Потом, вскочивший на ноги от заполoshных воплей убиваемых воинов, Субутай увидел, как на глазах оживает поросшая тростником река. А люди — чернобровые, с колючими волчьими глазами, выплевывали тростинки и взяв наизготовку небольшие кинжалы, кидались на ошеломленных монгольских воинов, враз перерезая глотки, хватали перепуганных коней и моментально оседлав их, выкатывались на берег.

Субутай на бегу схватил за шкварник бегущего с вытаращенными глазами кипчака, примкнувшего к войску после битвы у Калки.

— Кто такие? — прошипел Урянхайский Барс, вглядываясь суженными глазами в чернобровых, вырезавших как овец совершенно не готовых к бою монголов.

— Волки! — проскулил кипчак. — Башкиры...

— Оно и видно, что волки! — процедил Субутай. Он дал пинка паникере и в следующий миг припал к земле, накрывшись его внезапно обмяк-

шим телом, из которого торчала стрела с черным оперением.

А стрелы уже свистели по всему берегу, башкир, этих чернобровых волков с лютыми глазами, становилось все больше и больше — по мере того, как тростник исчезал с поверхности реки. А затем со спины грянул нарастающий как снежный ком рев тысяч глоток — отрезая паникующим монголам путь к отступлению, из ночной степи вырвались воины Бушмана.

— В клещи взяли, — думал Субутай, перебираясь по песку; еще теплый, утыканный стрелами труп кипчакского перебежчика терся о его натруженную спину.

Картина засады предстала перед его глазами как на ладони — башкиры, эта легкоконная сволочь, опередили его неспешно бредущее по степи, усталое войско, видать, двигались со стороны вон тех северных холмов, и потому, оставшись незамеченными, попрятались в реке с тростинками в губах. И ведь как рассчитали, мерзавцы! Будто угадали все самые потаенные мысли Субутая. Без колдовства здесь точно не обошлось. А теперь, прижимая их к реке, откуда шла лютая смерть, надвигалось основное войско, ударившее с тыла.

Разгром был полным. Булгарские и кипчакские воины вгрызались в нестройные ряды опомнившихся монголов со всех сторон, теснили к реке, где их уже встречали истошно визжащие башкирские демоны с ножами в зубах и луками наперевес. В этой суете и давке, освещаемой лишь тусклым светом незатухенных костров, сохранял спокойствие, пожалуй, лишь Субутай-багатур. Поймав под уздцы носившегося по берегу коня, он вскочил в седло, отбросив ненужный труп на прыгнувшего к его горлу башкирского воина, ударил пятками в бока. Вскоре, перекрывая истощенные боевые кличи врагов и крики убиваемых монгольских воинов, раздались четкие и спокойные слова отдаваемых им команд.

Первыми от наступившего ступора опомнились седые монгольские ветераны — старая, испытанная в бесчисленных схватках гвардия. Этим не

впервой было, — выпутывались еще и не из таких передраг! Сгрудившись вокруг своего вождя, ошетилившись пиками, они образовали подобие стального кулака, о который разбивались накатывающие из полутьмы волны вражеских воинов. Медленно, но верно отряд Субутая вырывался из окружения, бросив безнадежно гибнущих горцев и кипчаков-перебежчиков, — не до них, пусть дохнут! Главное — спасти гвардию, а вспомогательные войска всегда можно нанять...

* * *

Путь к спасению был уже почти открыт, когда на грудь Субутая прямо из темноты прыгнул неведь откуда взявшийся башкирский воин. На нем была лишь пестрая шелковая козырька, обмотанная вокруг непокорных черных волос, и кожаные штаны; тело состояло, казалось, из одних мышц и сухожилий. Удалой башкир, по всей видимости, не погнушался вскарабкаться на конскую спину и на полном скаку прыгнуть на врага.

Субутай, не готовый к удару мускулистого тела, летевшего в него как камень, пущенный из китайской катапульты, вылетел из седла. Урянхайский Барс и башкирский смельчак молча покатались по земле, отбросив оружие и всякие правила, слясь добраться до горла противника всем, чем можно — ногтями, зубами... Сражавшимся вокруг них воинам не было никакого дела до сцепившихся во тьме — каждый думал либо о своем спасении, либо о мести врагу.

Только чудом дерущимся на земле удалось не попасть под мечущиеся вокруг конские копыта — сражающиеся откатились в сторону от места основной битвы и свалились прямо в реку. Бой продолжился и в воде, хотя течение сносило обоих все дальше и дальше от топочущих во тьме коней, мечущихся факелов и возбужденных криков сражающейся толпы.

Наконец, годы начали давать о себе знать — Субутай дышал все надсаднее. Эх, старость! Скинуть бы десяток-другой лет, он бы одними зубами глотку

выгрыз этому дерзкому башкирскому волчонку, вскрыл бы грудину и голыми руками сдавил бы его сердце! Увы... Рука башкира рванулась вверх, скидывая шлем с головы старого вояки, впилась в его седые, в косицы завитые волосы. Раз — и голова Субутая, тщечно напрягавшего могучие шейные мышцы, откинулась назад. Урянхайский Барс хлебнул воды раз, другой, тело его дернулось и бессильно обмякло в стальных объятиях противника.

* * *

Однако отчаянный башкирский воин не стал топить обессиленного урянхайца. Видимо, у него были другие планы. Посмеиваясь, башкир вытащил обмякшее тело Субутая на берег и с размаху швырнул его на камни. Старик промычал, приходя в себя. Но стоило ему, надсадно кашляя и выплевывая воду, приподняться на локтях, как противник его вновь метнулся к нему, вцепился в дряблую глотку стальными пальцами. Желтые круги поплыли перед глазами Урянхайского Барса.

— Прости пощады! — неожиданно донеслись до него слова на чистейшем монгольском языке.

— Пощади... — голос Субутая дрожал, слова вырвались, казалось, не от отчаяния, а от изумления, овладевшего им. Здесь, за тысячи стрелищ, услышать слова монгольского языка, и от кого? От жителя Уральских гор, встретиться с собратьями которого ему, Субутая, довелось только сегодня. И он готов был поклясться, что и для башкир сегодняшней бой был первой встречей с монголами.

— Откуда ты знаешь язык, на котором разговаривает Джихангир? — прохрипел старик, когда стальная хватка на его горле наконец ослабла.

— А разве для тебя он не родной... Субутай-багатур? — в голосе башкира слышалась легкая ирония. Лица его во мраке Субутай не мог видеть, лишь сверкали в ночном мраке его белоснежные зубы.

— Нет, — спокойно ответил Субутай. — А ты пронцательный малый!

Откуда тебе ведомо, что я — урянхаец, а не монгол?

— У меня был друг из ваших, — ухмыльнулся башкир. В тоне его послышалась печаль, смешанная с досадой и даже с гневом. — Он предал меня. Он украл у меня мою невесту и мой меч. А до этого он убил моего лучшего друга.

— Среди монголов не бывает предателей, — покачал головой Субутай. — Митра, в которого они веруют, не допускает предательства. Для монголов это — тягчайший грех.

— Но он пошел на него... — хмыкнул башкир, — ради своего кагана.

— А-а, — протянул Субутай. — Ну это совершенно меняет дело. Он не мог поступить иначе, долг перед Джихангиром перевешивает все остальное.

— Да, — горько усмехнулся башкир. — То-то он все бормотал “он сильнее меня...”. У вас, монголов, я заметил интересную особенность — вы слепо верите, что прав тот, кто сильнее. Впрочем, я не о народе. Наверняка, монголы такие же люди, как и все в этом мире. Вот и ты не монгол. Так что говоря “монголы”, я имею в виду псов этого вашего Потрясателя Вселенной.

— Да, мы его псы, — спокойно согласился Субутай. — Ведь Джихангир мог родиться среди любого народа. Просто монголам повезло больше других. Поэтому они идут впереди, и все прочие, примкнувшие к ним, оказывают им почет и уважение. Мы же принимаем к себе всех желающих — нам нет дела ни до крови, текущей в жилах, ни до веры, которую исповедуют люди. Бог един, и все мы — его дети. Но для удобства мы всех немонголов, примкнувших к нашему войску, именуем татарами. И их, как — ты видишь, гораздо больше. Кстати, — тут Субутай хитро прищурился, — ты тоже можешь вступить в наши ряды. От тебя требуется немного — отпусти меня с миром, а я-то уж тебя не забуду. Приходи к нам в любое время, и я сделаю тебя десятником. Нет, даже сотником. Соглашайся, парень! Это твой шанс!

— Хорошо! — неожиданно согласился башкир. — Я и вправду отпущу

тебя, Урянхайский Барс. Но не потому, что меня прельстили твои слова. Ни за что на свете я не пойду в войско насильников и угнетателей! Ты думаешь, что я стану воевать против своих братьев?

— Братья! — фыркнул уязвленный Субутай. — Ты говоришь прямо как несторианский священник!

— И тем не менее, — гнул свое упрямый башкир, — я действительно отпущу тебя, Субутай-багатур. Во-первых, потому что ты попросил у меня пощады в бою.

— Тебе не стоит рассказывать об этом направо и налево! — взъярился Субутай.

— Во-вторых, — пропустил мимо ушей его слова башкир, — потому что ты уже старик.

— Это не я старик! — вспылал Субутай. — Это у тебя еще просто молодко на губах не обсохло!

— Прощаю тебе твои оскорбления из уважения к твоему возрасту, — не моргнув глазом его странный собеседник. — А в-третьих, хоть ты и насильник и вор, но ты славный воин, и не мне тебя судить. Пусть тебя судит Бог, о котором ты только что говорил.

— А ты дерзок, сопляк! — Субутай поднялся на ноги. На востоке уже начинало розоветь, и теперь он смог разглядеть волевое и решительное лицо своего собеседника. Парень лет двадцати трех, вот только глаза не по возрасту мудрые и печальные, да у губ пролегли страдальческие складки. Видно, хлебнул лиха... Почувствовав странное расположение к недавнему врагу, Субутай неожиданно смягчился.

— Расскажи мне, кто тот монгол, что обидел тебя? — поинтересовался он. — Может, я увижу его в ставке и напомним ему о его неблагоприятном поступке.

— Его зовут Кучук, — помолчав, ответил башкир. — Он служил в твоих туменах сотником. Лет семь назад в битве у Иргиза, когда хорезмийские пограничники распяли его в степи, я спас его и выходил. И вот теперь он отплатил мне за мое добро.

— Кучук... — сощурился Субутай. — Как же, слышал, слышал! Ну, он

теперь важная птица. Он теперь уже туменбаши... Состоит в нукерах у Джучи, первенца Джихангира.

— Да, вижу, предательство высоко ценится при дворе Джихангира, — невесело улыбнулся башкир.

— В первую очередь там ценится личная преданность, — важно поправил его Субутай.

— А что случилось с киргизской княжной по имени Канькей? — неожиданно перебил его парень.

— Откуда ты ее знаешь? — изумился Субутай. — Канькей... После неудачного обряда взывания к духам предков кагана, когда погиб злополучный Кокэчу...

— Она жива? — смертельно побледнел башкир.

— Жива, жива, — усмехнулся Субутай. — Ничего с ней не случилось. За муж выдали, только и всего...

— За кого? — прошептал башкир.

— За кого, за кого... — прокряхтел Субутай. — Все-то ты хочешь знать, юнец. Да за этого самого Кучука и выдали! Эй, эй, парень! — не на шутку встревоженный, Субутай, забыв, что перед ним находится недавний смертельный враг, наклонился над присевшим на корточки и спрятавшим лицо в ладонях юношей. — Все ли ладно с тобой? — Субутай попытался поднять башкира на ноги, но тот, убрав его руки, вскочил сам. Глаза его горели решимостью.

— Уходи немедленно! — он указал рукой в степь, над которой уже во всю занимался жаворонок. — Коня я не могу тебе дать, так что придется идти пешком. Я вверяю тебя в руки Тенгри, а там уж — его воля, остаться тебе в живых или сгинуть. Быть может, я совершаю тяжкий грех перед своим народом, оставляя тебя в живых, но тем не менее... Иди и передай Кучуку, что он не уйдет от возмездия... За ним числится небольшой должок... Украденная невеста, которая стала его женой, и похищенный меч, ставший его трофеем. Пусть живет и знает — от расплаты ему не уйти...

— Но как тебя зовут? — недоумевал Субутай. — Ты, знающий на коротко монгольских сановников и на-

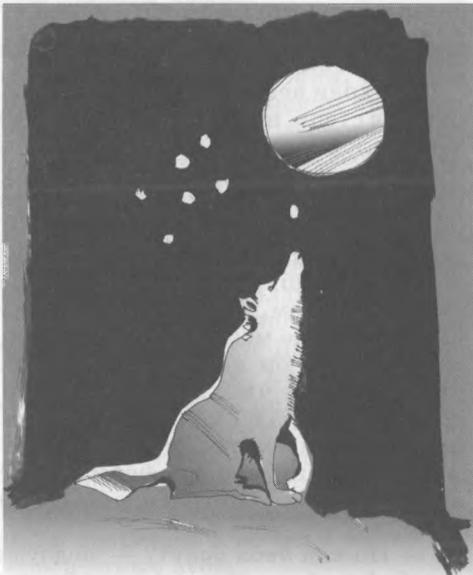
зывающий своей невестой деву царского рода? Кто ты есть?

— Алпар из рода Боскурт, — ухмыльнулся башкир. — Я и сам в некотором роде царского рода. Передавай Кучуку от меня горячий привет. Мое имя скажет ему многое...

— Прежде чем я уйду, — помолчав немного, попросил Субутай. — Поведай мне одну тайну, Алпар из рода Боскурт. Как вы догадались, что я остановлюсь именно у этой реки? Среди вас были колдуны?

Алпар, не говоря ни слова, коротко рассмеялся и неожиданно свистнул, распугивая жаворонков, реющих по рассветной степи. Субутай решил, что он подзывает коня, но когда увидел, кто мчится к ним из степи неспешной рысью, так и замер с открытым ртом. А огромный белоснежный (или совершенно седой?) волк, оглядев его немигающими, умными глазами, приблизился к Алпару и положил свою величавую огромную голову на его ноги.

— Сам дух степи помогает нам, улыбнулся Алпар, трепля седую волчью гриву. — Так и передай своему Джихангиру. Ему не одолеть башкир.



— А ты, оказывается, еще и колдун, — озираясь на волка, грозно глядящего ему вслед, бормотал удаляющийся Субутай.

* * *

— Ты осуждаешь меня, Боскурт? — Алпар глядел не мигая в синие, суровые глаза своего духа-покровителя.

— Нет, — помолчав, ответил призрак кангюйского хана. — На все воля Тенгри. Убив Субутая, ты бы ничего не решил. На смену ему пришел бы другой — только и всего. Даже убей ты сейчас самого Чингиз-хана... Нет, Алпар... Этот поток, несущийся по степи, уже не остановить...

— Ну хорошо, Боскурт. — Алпар поднял руку. — Нам пора прощаться. Бушман, видимо, уже обыскался меня. Представляю, как он вззоет от ярости, когда я расскажу ему, что сам Субутай был почти у меня в руках. Но ведь ушел, хитрющий старик, а? — Алпар задорно подмигнул Боскурту.

— Посеявший зло, пожнет зло стократ большее. Ты же поступил как добрый человек, хотя и по отношению к злому. Как знать, что из этого выйдет? — развел руками Боскурт, растворяясь в рассветном прозрачном воздухе...

Алпар стоял еще некоторое время, подставляя лицо солнечным лучам, бившим с неба. Над степью вставала радуга, — и, кто его знает, может, именно по ней сейчас ушел от него Боскурт?

— На все воля Тенгри, — пробормотал Алпар и, развернувшись, пошел в ту сторону, где раздавались возбужденные голоса ехавших по степи соратников, вышедших победителями из ночной схватки...

* * *

Лишь небольшой части грозной монгольской орды удалось вырваться из стальных клещей, в которые заключила их армия мстителей за Калкинский разгром. Не впрок пошло завоевателям награбленное княжеское доб-

ро, достигли своей цели их последние проклятия из-под досок, на которых справлялась жестокая тризна. Оставшиеся без вспомогательных частей и без единого трофея, оставив врагу даже знаменитую стальную колесницу, в полном унынии ехали по степи бывалые матерые ветераны. Нет, не поражение и не потеря трофеев печалило их сердца. Самой главной бедой было то, что не смогли они уберечь Субутая. А кто они без него? Так... стая без орла, стадо без пастуха...

Потому-то радости и ликования их не было предела, когда на горизонте, в колышущемся знойном мареве показалась знакомая фигура в сверкавших на солнце наборной кольчуге и лихо заломленным набекрень шлеме.

— Жив, Субутай! — ликовали монголы, пуская коней навстречу своему вождю.

Да, Субутай был действительно жив, хотя и изнемогал от усталости. Оставшись без коня, ему пришлось выдюжить изнурительный пеший переход по выжженной степи. Осушив бурдюк кумыса и оседлав жеребца, Субутай, не тратя времени на лишние разговоры, дал команду скакать что есть мочи — навстречу восходящему солнцу, навстречу наступающим войскам Джихангира. Лицо Урянахско-го Барса было как и всегда непроницаемо, но опытные ординарцы его чуяли, их боевого командира неотступно гложет какая-то мысль...

Глава шестая Меч власти

Монгольская армия вступила в пределы Дешт-и-Кипчака не встречая никакого сопротивления. Степь будто вымерла, — многочисленные кипчакские роды откочевали к северу, уступая дорогу грозной орде, топтавшей их родную землю. Полынные пространства покорно ложились под некованные копыта низкорослых шерстистых коней, мозолистые ступни верблюдов; завоеватели гнали перед собой отары овец и конские стада — казалось, вся Монголия снялась с привычных, обжитых кочевий и дви-

нулась на запад. Шли уверенно, оглядывая хозяйским глазом привольные пастбища, прикидывая в уме, где лучше проводить летовку, куда отогнать стада зимой...

Нукеры Джучиевой Орды, которой был дан приказ Джихангира занять новые земли, уже успели перессориться между собой не доехав до Тарбагатай, — спорили, едва не хватаясь за ножи, делили будущие вотчины...

Муйтан смотрел на них спокойно, лишь усмехался в длинные, висящие седые усы — что ж, новые господа, как-никак. Не страшно, успокаивал он себя, хоть и грозной и многочисленной выгладит катящаяся по степи лавина, все равно утонет, растворится в необъятных просторах Дешта. Всем хватит места... Ну, конечно, беднякам, той массе, что обычно именуют саруа — быдло, придется туго. Бесчисленные царевичи-чингизиды и их прихвостни сгонят их с земель, перекроют вековые кочевые пути, займут лучшие пастбища. Но ведь для того, собственно, он и везет символ власти над просторами Урала — тот самый меч... Да, привольны речные долины Агидели, Ая, Таныпа, Юрюзани и Дима, много там сочной травы, душистого клевера, пчелы жужжат, собирая с пыльного многоцветья свой вздох... Жаль только зимы чересчур суровые, но это и хорошо, — монголы, привыкшие к мягкой зиме родного Ордоса, где скотина пасется круглый год, не станут обживаться в его новых вотчинах. А кипчаки — народ неприхотливый. Потеснят иштеков, которые все равно не умеют правильно кочевать, — вот пусть и уходят к северу, в дикие леса или поднимаются в горные луга...

Муйтан рассуждал верно — монголов, действительно, в первую очередь привлекала кипчакская привольная степь, где, как они считали, воцарятся на веки вечные, чтобы, расплодившись на тучных пастбищах, как саранча, процветать тысячи и тысячи лет, охаживая нагайками согбенные спины рабов. Каждый из монголов, даже самый завалающий бедолага, свято верил, что здесь, на новых землях, он станет не меньше чем бием, станет

жить в белоснежной юрте из верблюжьей шерсти, будет пить благородный черный кумыс из золотых сосудов, нежиться в объятиях многочисленных жен... Где уж им было заглянуть в будущее, чтобы увидеть свою судьбу — те, кому не суждено было пасть в боях, обречены были влиться в понурю серую массу саруа и прозябать, так же как и их отцы и деды. Потому то Муйтан был спокоен, — понимал, на всех богатства и почета не хватит, и рано или поздно сольется монгольская белая кость со старой кипчакской знатью... Потому что хищникам свойственно объединяться.

А пока Джучиев улус триумфально шествовал по степи, а навстречу ему скакали вестовые — от уйсынов, канглов, кайсаков... Везли дары и берестяные грамоты, в которых древними рунами было засвидетельствовано — бии, наследники и хозяева Дешти-Кипчака склоняют свои выи перед войсками Джихангира, дарят им свои пастища и предлагают людей для пополнения армии.

Джучи, довольный приемом, остановился со своим двором, Малым двором, как его называли в империи, не доезжая до руин некогда пышного купеческого города Отрара, павшего четыре года назад во время хорезмийской кампании. Здесь он и расположился со своими женами, прихлебателями, сановниками, учеными китайцами, многочисленными рабами и холопами, бесчисленными стадами... Не торопился исполнять отцовский наказ — взять под свою руку все земли западнее Тарбагатая. Что ж, Джучи, не в пример свирепому папаше, был человеком мягкого нрава, любившим сладко поесть и долго поспать. Да и воля его была надломлена презрительным и суровым отношением подозрительного отца, — не сладка доля наследника, в правах которого на престол сомневается родной отец... Джучи медленно, но верно спивался, понимая, что совсем не от большой любви даровал ему отец власть над еще не покоренными землями. Послал его на передовую, на самый опасный участок, где живут неведомые, воинственные народы. Вон, Угэдэю отдал на от-

куп покорный и богатый Хорезм, а ему... Почти безлюдные дикое пространства с суровым климатом, где легко сгнить, затеряться... И потому Джучи не спешил править и володеть, лишь выслал вперёд передовые тумены, вверив непростое дело завоевания западных стран верному Кучуку и хитрому Муйтану.

— Я верю в вас, — говорил Джучи им на прощание. — Действуйте по своему усмотрению. Идите на запад, пока вас не остановят. На рожон не лезьте. Всегда можно договориться, хотя отец мой этого не понимает. Да и вообще, куда нам спешить? Рано или поздно весь мир будет принадлежать нам, — Джучи усмехался, сам не веря в свои слова, но осторожничал, — а пока не мешало бы и передохнуть. Пусть люди набираются сил перед грядущими войнами.

* * *

На берегах древнего Яика армия Кучука и Муйтана встретила жалкие остатки победоносной орды Субутай-багатура. Хмур был Урянхайский Барс, поутих его неукротимый боевой азарт.

— Запад с наскака нам не взять, — заявил он, пристально глядя на Кучука. — Впрочем, кому как не тебе знать об этом. Ведь ты же имел опыт общения с башкирами и булгарами.

— Было дело, — уклончиво отозвался Кучук, чувствуя некоторый подвох в словах бывалого военачальника. Но Субутай молчал, предпочитая не развивать скользкую тему. Еще не настало время, думал он.

— Как поживает твоя жена? — как бы между прочим полюбопытствовал Субутай-багатур.

— Хвала Тенгри, — Кучук изумленно воззрился на старого рубаку. С чего это вдруг? В жизни не интересовался старик вопросами семьи, а женщин так и вообще за людей не признавал.

— Вот, родила мне сына, — бормотал он. — Уже четвертый год идет парнишке.

— Ну, ладно, — оборвал его Субутай. — Я рад за тебя. А теперь, мно-

гоуважаемый Кучук, будь добр передать управление войском лично мне!

Субутай выхватил из под полы пайцзу с головой тигра — высший знак ханского отличия. Кучуку не оставалось ничего, как лишь покорно склонить голову. Субутай был сильнее его...

— Вы поедете за Яик и встретитесь с западными биями, — распорядился Субутай. — Ваша задача — заключить с ними договор о мире.

— О мире? — Муйтан и Кучук, опешив, уставились на свирепого урянхайца. С каких это пор барс войны заговорил о мире?

— На том берегу кипчаки, болгары и башкиры собрали огромную армию и только ждут нашего вторжения, — объяснил Субутай. — Булгарский хан, хан запорожцев Котян, карагайский бий Бушман — все они настроены стоять против нас до последнего вздоха. Голым нахрапом здесь не обойтись. Но это не страшно, настанет час, и Запад созреет, а созрев, упадет в наши руки как переспелый плод. В свое время они сами позовут нас.

— Позовут ли? — недоверчиво ухмыльнулся Муйтан, памятуя неуживчивый нрав своих западных коллег.

— Уж поверь мне на слово! — загадочно ухмыльнулся Субутай.

* * *

Новый курултай, на который были послы Джихангира, созвали в древней ханской ставке Ак-Тубе, что на Яике. Сюда на этот раз прибыли почти все участники памятной встречи на Иргизе. Но те, что правили Дештом по правую руку от Яика, выступали как свободные люди, а их восточные соседи приехали уже в новом качестве.

— Мы все — слуги Джихангира, — заявили Муйтан, Майкы, Сыйла-бий и прочие. — И все наши земли отныне являются его вотчиной. Отныне наша страна уже не зовется Дешт-и-Кипчаком. Мы теперь живем в Джучиевом Улусе.

— Трусые! — голос Бушмана дрожал от гнева. — Вы раскололи нашу

древнюю родину Степь надвое, вспо-роли ей брюхо! Нет вам прощения, двурушники!

— Не горячись, Бушман, — успокаивал его на удивление рассудительный Аккубуль. — Они наши гости и приехали сюда не ссориться, а договариваться о мире и дружбе.

— Не может быть дружбы между цепными собаками и вольными волками! — упорствовал Бушман.

— Ты, конечно же, прав, Бушман, — прервал его Котян. — Но дело сделано. Восток уже не наш. Нам придется смириться с новым раскладом.

— А куда ж вы денетесь? — злорадно расхохотался Сыйла-бий. — Мы, восточные бии, сами знаем, что нам делать со своими землями. А родина... Что это такое вообще? Где хорошо, там и родина. А нам хорошо под доброй и могучей дланью Джихангира и сына его Джучи...

— И вы тоже не избегнете нашей судьбы, — вставил Муйтан. — Придет час, и Запад покорится воле Джихангира. И лучше вам отдаться новой власти добром.

— Какая разница — изнасилуют или добром отдаться? — невесело ухмыльнулся Бушман. — Раз меч прижат к горлу, выбирать не из чего. Но у нас тоже есть меч, и он пока что не заржавел.

— Кстати о мече, — подал свой голос доселе молчавший и не вмешивавшийся в спор кипчаков Кучук. — Меч, сказывают старики, — а уж этот-то меч точно никогда не заржавеет, — принадлежавший некогда Урал-батыру, дарует власть над всеми башкирскими землями. Так что Башкортостан наш! — Кучук бережно вытащил из ножен заветный клинок и предъявил его умоляющим биям.

— Есть какие-нибудь вопросы? — Муйтан обвел собрание победоносным взором.

— Да, есть! — воскликнул Бушман. — Этот меч на самом деле принадлежит не вам! Он украден у его подлинного хозяина. Его зовут Алпар, и это он должен править Башкортостаном, а не вы!

— Ты что же, прочишь в ханы всех башкир безродного малая? — ухмылялись восточные бии.

— Не такой уж он и безродный! — возражал Бушман. — Он из царского рода. Его предки некогда правили Кангюем.

— Брось, — протянул Муйтан. — Где он, этот Кангюй? Покажи его нам, и тогда мы, может быть, и поверим тебе. Кангюй пал много веков назад, и даже опытные караванщики не знают, где искать его занесенные песком руины. Никто не может быть башкирским ханом. Они жили без хана на протяжении столетий. А теперь в степи есть лишь один хан. Это Джихангир. И меч Урала отныне принадлежит ему.

— Он прав, — Котян похлопал горевшего возмущением Бушмана по плечу. — Преимущество на их стороне. Башкирские земли перейдут под руку Джихангира, и мы ничего не можем с этим поделать.

— А самих хозяев этой земли почему никто не спрашивает? — не унимался Бушман. — Хотят ли сами башкиры быть под рукой Джихангира?

— Увы, их мнением никто не интересуется, — вздохнул Котян. — Народ без своего хана обречен на завоевание. К тому же башкиры никуда не денутся, если признают меч. А он в руках людей Чингиз-хана, а не твоего друга Алпара.

— Хорошо, мы согласны! — в разговор вступил присутствовавший на курултае сын болгарского хана Джикку. — Подпишем договор, но с одним условием: западные башкирские племена наши старые данники. Их земли останутся под рукой болгарского владыки.

— Ладно, — махнул рукой Муйтан. — Проложим границу по пойме Агидели и покончим наконец с башкирским вопросом...

* * *

Итак, договор был подписан. Башкир поделили, будто бессловесную скотину, не спрашивая ни их согласия, ни их соизволения на то. Муйтан-бий торжествовал — он только что стал владельцем богатейших угодий.

Договор о мире и дружбе между западными кипчаками, булгарами и

Джучиевым Улусом заканчивался словами:

“Именем небесного Тенгри, установленные отныне границы священны и ненарушаемы. Монголы же могут вступить на западный берег реки Яик только в качестве приглашенных гостей...”

* * *

Выезжая из Ак-Тубы, монгольское посольство встретило одинокого всадника в хвостатой башкирской шапке. Алпар, не имевший права присутствовать на курултае, поскольку не являлся представителем кипчакских родов, уезжал в сторону Булгара, опечаленный и возмущенный.

При виде старого знакомого Кучук посерел лицом. Опустив глаза, он уже хотел проехать мимо, но рука Алпара остановила его.

— Ну здравствуй, — тяжело проговорил башкир.

Кучук не ответил, на его крутых скулах играли желваки.

— Стало быть, без нас нас женили, так что ли выходит? — продолжал Алпар.

— Пропусти меня, Алпар! — наконец не выдержал, схватился за рукоять меча Кучук. — Ты один, а нас много! Уходи, покуда цел, а иначе я за себя не ручаюсь!

— Да, вас действительно много, — согласился Алпар, отпуская, наконец, дрожащую как осиновый лист руку предателя. — Но отвечать за свои дела перед богом каждый будет по одиночке. Да, кстати, насчет женитьбы! Я же совсем забыл поздравить тебя со свадьбой!

— Прекрати, Алпар! — Кучук закрыл лицо руками, раскачиваясь в седле.

— Почему же? — Алпар продолжал беречь свои раны, вымученно улыбаясь. — Как здоровье молодой?

— Она родила мне сына, — пробормотал Кучук.

В следующий миг он едва не слетел с седла — тяжелый кулак Алпара врезался в его челюсть. Его тут же окружили монголы, схватили со всех сторон, ожидая лишь команды своего предводителя. Но Кучук, унимая кровь из расцеченной губы, сделал знак отпустить его.

— Прости меня, Алпар, если сможешь, — глухо бубнил Кучук.

— Это судьба, она сильнее нас. Мы лишь щепки, которые несет мутный поток жизни. Так уж вышло, не обессудь.

— Не обессудь? — взвыл раненым волком Алпар. — Ах ты, сволочь! Ты же украл у меня все! Ты украл у меня Канькей, украл меч Урала! Больше того ты украл у меня жизнь! И теперь я обречен вечно скитаться, не понимая, жив я или мертв? Лучше бы мне умереть! Прикажи своим псам, пусть изрешетят меня стрелами! Это будет честнее всего!

— Нет, Алпар, — покачал головой Кучук. — Иди с миром. Ты все-таки спас мне жизнь, хотя, наверное, сделал это зря. Ты слишком добрый. А мир вокруг нас зол.

— Прощай, Кучук, — Алпар, кое как взяв себя в руки, повернул коня в сторону запада. — Уезжай, и береги Канькей. Это единственное, что ты для меня еще можешь сделать.

— Не только это, Алпар, — неожиданно криво улыбнулся Кучук. — Я сделаю для тебя немного больше. Я воспитаю тебе сына.

— Сына? — Алпар застыл в стреленах.

— Да, Алпар. Твоего сына! — выкрикнул Кучук и, ударив коня в бока, поскакал прочь.

* * *

Улеглась пыль на степной дороге и скрылись за горизонтом монгольские послы. А в голой степи, у небольшого костра сидел одинокий мужчина. Тоскливый напев курая вырывался из его легких, накладываясь на завывание ветра, и ветер уносил его к древним холмам, на которых застыли призраками ночи молчаливые каменные статуи героев старины. Что им до людских дел? — спрашивали, казалось, ветер и курай.

Они спели свою песню, улеглись их страдания, кровь их проросла зеленой травой на раздольях Дешт-и-Кипчака. Уйми же и ты боль своего сердца, ибо пройдут века и забудутся и твои страдания, и твоя боль. Останутся лишь холмы, да ковыль, да луна, плывущая над кочевьями. И, быть может, через много веков они поведают твою историю такому же страдальцу, такому же бесприютному бродяге на бесконечной и путаной дороге жизни. И тогда родится новая песня...

Алпар играл, вкладывая в надрывную мелодию весь нерастраченный пыл души, всю боль исстрадавшегося сердца. Седые пряди блистали в его черных волосах под мертвенным светом равнодушной луны, а дым ел глаза, и по щекам, будто капли крови из истерзанного сердца его, катились скупые, непрошенные слезы...

Май 2001 г.

